

Гертруда и Клавдий, Джон Апдайк

Это — анти-«Гамлет». Это — новый роман Джона Апдайка. Это — голоса самой проклинаемой пары любовников за всю историю мировой литературы: Гертруды и Клавдия. Убийца и изменница — или просто немолодые и неглупые мужчина и женщина, отказавшиеся поверить, что лишены будущего?.. Это — право «последнего слова», которое великий писатель отважился дать «веку, вывихнувшему сустав». Сумеет ли этот век защитить себя?..

Марте

De dezir mos cors no fina
vas selha ren qu'ieu pus am
Не устает душа моя

Стремиться к той, кого люблю
(старопрованс.)
Предисловие

В первой части имена взяты из пересказа древней гамлетовской легенды в «Истории датчан» Саксона Грамматика конца XII века, написанной на латыни и впервые напечатанной в Париже в 1514 году. Их написание во второй части взято из пятого тома «Трагических историй» Франсуа Бельфоре, вольного переложения рассказа Саксона, напечатанного в Париже в 1576 году (в «Источниках Гамлета» сэра Израэля Голланца (1926 г.) использовано издание 1582 г.) и переведенного на английский в 1608 году, возможно, из-за популярности пьесы Шекспира. Имя Корамбус встречается в первом издании кварто (1603 г.) и обретает форму Корамбис в «Наказанном братоубийстве, или Гамлет, принц датский» (впервые напечатано в 1781 году с утерянной рукописи, датированной 1701 годом), сильно изуродованном сокращении либо шекспировской пьесы, либо утерянного так называемого «Ур-Гамлета» восьмидесятых годов шестнадцатого века, приписываемого с большой долей вероятности Томасу Киду и приобретенного для переделки труппой лорда-камергера, к которой принадлежал Шекспир, чьи имена используются в третьей части.

I
Король был раздражен. Герута всего лишь шестнадцатилетняя толстушка, высказала нежелание выйти за избранного ей в мужья вельможу, юта Горвендила, мясистого воина, во всех отношениях подходящего жениха — в той мере, в какой ют вообще может считаться подходящим женихом для девицы, родившейся и выросшей в королевском замке Эльсинор.

— Неповиновение королю — это государственная измена, — напомнил Рерик своей дочери, на чьих нежных щеках вспыхнули розы непокорности и страха. — Когда же, — продолжал он, — виновной оказывается единственная принцесса королевства, преступление обретает характер инцеста и самоубийства.

— Во всех отношениях подходящий тебе, — сказала Герута, следуя собственным инстинктам, неясным теням, отброшенным в дальние уголки ее сознания алой вспышкой королевского гнева ее

отца. — Но для меня он слишком неутончен.

— Неутончен! Воинского ума, какой только и нужен верному датчанину, у него в избытке! Горвендил сразил опустошителя наших берегов, норвежского короля Коллера. Ухватив свой длинный меч обеими руками, оставив без прикрытия собственную грудь, он, прежде чем в нее успело вонзиться лезвие, сокрушил щит Коллера и отрубил норвежцу ступню, так что из него вся кровь вытекла! И пока Коллер лежал, превращая песок под собой в жидкую грязь, он выторговал условия своего погребения, и его юный победитель благородно выполнил их.

— Полагаю, это сошло бы за благородство, — сказала Герута, — в темную старину, когда совершались подвиги, воспетые в сагах, а люди, боги и силы природы были едины.

— Горвендил до кончиков ногтей современный человек, — возразил Рерик, — достойный сын моего боевого товарища Горвендила. И показал себя отличнейшим соправителем Ютландии, власть над которой делит со своим братом Фенгом, далеко не таким достойным. Вернее было бы назвать его единственным правителем, поскольку Фенг все время сражается где-нибудь на юге за императора Священной Римской империи или за кого-то еще, кто доверится его руке и бойкому языку. Сражается и блудит, как говорят. Народ любит его, Горвендила. И не любит Фенга.

— Те самые качества, которые завоевывают народную любовь, — отозвалась Герута, чей розовый румянец начал бледнеть, едва кульминация стычки между отцом и дочерью осталась позади, — могут воспрепятствовать любви личной. В наших мимолетных встречах Горвендил обходился со мной по всем правилам бесчувственной придворной учтивости — как с украшением дворца, чья единственная ценность — мое родство с тобой. Или он вообще смотрел сквозь меня глазами, способными видеть только действия его соперников. Это зеркало благородства, положив Коллера с достаточным количеством золота в черный погребальный корабль, который увез его в жизнь будущую, отыскал и зарезал Селу, сестру убитого, не пощадив слабости ее пола.

— Села была воином, пиратом, равной мужчинам. Она заслуживала смерти мужчины. Его слова укололи Геруту.

— Так, значит, смерть женщины мельче, чем смерть мужчины? По-моему, обе равно велики — достаточны, чтобы, подобно луне, когда она погружает солнце в черноту, затмить жизнь во всей ее полноте вплоть до последнего вздоха, который, быть может, будет прощанием с упущенными возможностями и ненайденным счастьем. Села была пиратом, но ни одна женщина не хочет быть просто табуреткой, которую выторговывают, чтобы потом на ней сидеть. Такая дерзость и покрасневшее лицо его красавицы дочери заставили поползти вверх мохнатые седеющие брови Рерика, как и его верхнюю губу, с которой свисали длинные усы. Его губа перестала подниматься, едва его инстинктивно снисходительный смешок был подавлен и преобразован требованиями политики в грозный рык. Он напомнил себе, что должен быть непреклонным. Его губы между

усами и нечесаной бородой с проседью выглядели мясистыми, извилистыми и красными. Он был бы безобразен, не будь он ее отцом. — После безвременной кончины твоей матери, мое милое дитя, глазной моей заботой было твое счастье. Но я обещал тебя Горвендилу, а если королевское слово будет нарушено, королевство рассыплется. Все три года, пока Горвендил бороздил море, забирая сокровища казны Коллера и дворца Селы и еще десятка богатых портов Шветландии и Руси, он отдавал мне, как своему сюзерену, лучшее из своей добычи. — А я, значит, добыча, которую он получает взамен, — заметила Герута.

Она была пышнотелой, безмятежной, свежей и благоразумной девушкой. Если в ее красоте и был изъян, то лишь просвет между ее верхними передними зубами, словно однажды очень широкая улыбка раздвинула их навсегда. Ее волосы, незаплетенные, как подобает девственнице, отливали краснотой меди, сплавленной с оловом солнечного света. Она источала теплую ауру, замеченную еще во младенчестве: в ледяных покоях Эльсинора со смерзшейся соломой на полу ее няньки любили прижимать к груди ее упругое теплое тельце. Бронзовые скрученные браслеты, броши из искусно переплетенных металлических полосок и тяжелое ожерелье из тонко выкованных серебряных чешуи свидетельствовали о щедрости отцовской любви. Ее мать, Онна, умерла на самом дальнем краю воспоминаний, когда девочке было три годика и она пылала в той же гнилой горячке, которая унесла в могилу хрупкую мать, но пощадила крепенькую дочку.

Онна была черноволосой полонянкой из края венеков. Неулыбчивое лицо с полуопущенными веками и густыми бровями, песенка, пропетая с акцентом, который даже трехлетней крохе казался странным, и прикосновение нежных, но охлаждающих пальцев — вот почти и все драгоценные воспоминания о матери, хранившиеся в памяти Геруты. Только что, когда ее отец упомянул про Селу, она с удовольствием услышала, что и женщины могут быть воинами. Она чувствовала в себе кровь воина — гордость воина, смелость воина. Было время — через три-четыре года после смерти ее матери, — когда ей казалось, что она ровня детям, с которыми, за неимением братьев и сестер, она играла, детям придворных и служителей, фрейлин и даже кухонной прислуги. Затем она стала ощущать — задолго до того, как наступление девичества пробудило мысль о замужестве, — царственную кровь отца в своих жилах. У нее не было брата, и она стояла ближе всех к трону, и близость эта перейдет к ее мужу. Так что и у нее была своя доля государственной власти в этой неравной схватке двух волей.

Отец спросил ее:

— Какой недостаток можешь ты поставить в вину Горвендилу?

— Никакой. А это, возможно, уже само по себе недостаток. Мне говорили, что жена дополняет мужа. А Горвендил чувствует, что ни в каких дополнениях не нуждается.

— Никакой мужчина без жены ничего подобного не чувствует, хотя и не кричит об этом, — с глубокой серьезностью сказал Рерик, сам мужчина без жены.

Было ли это сказано, чтобы сделать ее податливее, чтобы ей легче было подчиниться его воле? Что в конце концов она уступит, знали и он, и она. Он был король, сама субстанция — по сути, бессмертный, а

она с ее эфемерной прелестью — ничтожно малая величина среди исторических императивов династии и политических союзов.

— Неужели, — почти умоляюще сказал Рерик, — Горвендил никак не может тебе понравиться? Неужели ты уже так твердо решила, каким должен быть твой муж? Поверь мне, Герута, в суровом мире мужчин он стоит куда больше других. Он понимает свой долг и соблюдает свои клятвы. Раз уж твои жилы несут в себе право на королевство, я выбрал для тебя мужа, достойного стать королем. — Он понизил голос, столь хитро сочетавший политическую гамму угроз и уговоров с регистром неотразимой нежности. — Милая доченька, любовь столь естественное состояние для мужчин и женщин, что при условии хорошего здоровья и примерного равенства достоинств она неизбежно рождается из совместной близости и многих вместе преодоленных трудностей супружеской жизни. Ты и Горвендил — прекрасные воплощения нашей северной мощи, — можно сказать, белокурые бестии, столь же несокрушимые, как камни с рунами на верхнем пастбище. Твои сыновья вырастут великанами и победителями великанов!

— Ты была слишком мала и не успела пожить со своей матерью, — продолжал Рерик без паузы, будто все это было единым доводом, подкрепляющим его уговоры. — Но ты своей спелостью подтверждаешь нашу любовь. Ты проложила путь к жизни сквозь узкие сопротивляющиеся каналцы твоей матери. Поистине нам с нею было довольно друг друга, и мы не молили Небо о ребенке. Она была принцессой в краю венедов, как тебе говорили много раз, и ее привез с юга мой отец, великий Готер, после кровавого набега. А вот что тебе не говорили до этой нашей беседы: и перед священным обрядом и после она ненавидела меня, сына победителя, сразившего ее отца. Она была темноволосой, белокожей и полгода ногтями, зубами и всей силой своих тонких рук не давала мне овладеть собой. А когда я наконец овладел ею, воспользовавшись ее слабостью после одной из ее частых болезней, она попыталась убить себя кинжалом, такое отвращение испытывала к себе за то, что допустила это осквернение, осквернение самого источника жизни. Однако еще через полгода моя неисчерпаемая нежность и бесчисленные маленькие любезности и заботы, — все то, чем муж выказывает уважение почитаемой супруге, пробудили в ней любовь. Ее былая враждебность сохранялась только как особые вспышки страсти, ярость, которая вновь и вновь чуть было не обретала удовлетворения. Вновь и вновь нас гнало друг к другу, словно для того, чтобы найти в нашем соитии — темного и светлого, венедки и датчанина — разгадку мировой тайны.

Так если из столь малообещающего начала могла родиться такая взаимная привязанность, то как же может твой брак с благородным, достойнейшим героем Горвендиллом оказаться неудачным? Он почти твой кровный родственник в силу союза между его отцом и твоим. Рука Рерика, рука старика, узловатая, в бурых пятнах и легкая, будто пустая внутри, поднялась на волне его настойчивого вкрадчивого красноречия и, словно щепка, выброшенная на берег в кипении пены, легла на руку его дочери.

— Положись на мое решение, малютка Герута, — убеждал король. — Согласись безоговорочно на этот брак. Некоторые жизни заколдованы, я твердо в это верю. С самой минуты твоего кровавого рождения, которое навсегда подорвало силы твоей бедной матери, в тебе был избыток того, что дарит счастье другим людям. Назови это

солнечным светом, или разумностью, или милой простотой. Ты очаруешь своего мужа, сама того не зная, как чаровала меня с дней младенчества.

Трудно, думала Герута, ценить одного мужчину, когда ты с другим. Горвендил, который слыл красавцем — кожа свечной белизны, кудрявые льняные волосы, короткий прямой нос, льдисто-голубые глаза, длинные, как пескарики, на широком лице, тонкогубый суровый рот, — в ее мыслях бесконечно уменьшился, отделенный от нее расстоянием, пусть даже ближайшего будущего. А Рерик был здесь, его рука прикасалась к ее руке, его такое знакомое лицо на расстоянии локтя от ее собственного, полупрозрачная бородавка в складке над ноздрей его крупного, пористого крючковатого носа. Царственное утомление исходило всеми его складками вместе с запахом его коричневой кожи, выдубленной солью и солнцем морских набегов его юности по седым валам Балтики и вверх по великим безлюдным рекам Руси. Его одеяние — не бархатная, подбитая горностаем королевская мантия, но куртка из некрашеной овчины, которую он носил в домашних покоях, хранящая легкий сальный запах овечьего руна под дождем. Ее кости вибрировали в такт рокоту его ласковых слов, а ее голова ощущала отеческий нажим его другой руки, благословляюще прижатой к ее темени. Герута, будто сбитая с ног подзатыльником, вдруг упала перед ним на колени в судороге дочерней любви. А Рерик, наклонившись, чтобы поцеловать аккуратную костно-белую полоску скальпа там, где ее волосы были разделены на пробор, ощутил на лице легкое щекотание, будто от крохотных снежинок. Отдельные волоски, тонкие, невидимые, вырвались из плена тщательной прически его дочери, удерживаемой обручем в блеске драгоценных камней — изящным подобием его собственной громоздкой восьмиугольной короны, которую он возлагал на голову в тех же церемониальных случаях, когда облакался в негнущиеся одеяния из бархата и горноста. Он поднял лицо подальше от ее щекочущих волос и виновато вздрогнул: в ее позе была такая рабская покорность — покорность пленницы, одурманенной белладонной, готовой для принесения в жертву.

Однако брак с Горвендилом, который нес с собой сан королевы, никак нельзя было уподобить рабству. Что, собственно, нужно женщинам? Вот и в Онне было что-то ему недоступное, кроме тех мгновений, когда их тела сплетались и обретали освобождение в оголтелом ритме вонзаний и контрвонзаний, когда ее таз двигался в такт с его тазом — в страсти, словно в стремлении стать жертвой, быть пожранной в слиянии, которое, по сути, было захватом в плен. Затем, в следующий миг, когда их пот все еще впитывался в простыни, а их дыхание устремлялось назад в грудь его и ее, будто две летящие в гнездо голубки, она начинала отдаляться. То ли отдалялся он, завершив пленение, обретая легкость? Они были подобны двум наемным убийцам, которые встретились во тьме, завершили свое дело и торопливо без дальнейших слов разошлись во взаимной ненависти. Нет, не в ненависти, потому что некоторое время их удерживала рядом медлящая теплота под вышитым балдахинном, за полотняным пологом, сшитым вдвойне, чтобы их мечущиеся тени не были видны снаружи в высоком каменном покое, где гуляли сквозняки и ходили угрюмые слуги. Пока их потные тела подсыхали, он и она вели сонный бессвязный разговор, а его глаза все еще сохраняли видение ее нагой красоты над ним, под ним, ногами вверх рядом с ним, а пышные

непокорные волосы цвета воронова крыла между ее белыми бедрами щекочут ему рот. Много раз они говорили о своей подрастающей дочери, солнечном плоде одного такого слияния. О том, как девочка учится ходить и говорить, о том, как на смену милому лепету и драгоценных, ею самой придуманных словечек приходят более правильная речь и взрослые ухватки.

Герута оставалась главным, тиранически единственным источником их общей радости, потому что к ней не прибавилось ни брата, ни сестры, будто в утробе Онны крепко-накрепко захлопнулась дверь. Через три года королева Рерика умерла, унеся с собой в безмолвие свои полуночные крики освобождения из того плена похоти, на который грех любопытства Евы обрек человечество. И в то же безмолвие она унесла мягкое венедское произношение горловых датских слов, которое восхищало его не меньше всех смешных обмолвок их дочери. Кончики пальцев Онны были холодными, вспомнилось ему, а кожа Геруты даже на голове, белее мела в проборе, дышала теплотой. Ждет ли ее злая или счастливая судьба, но родилась она в любви.

Рерик беседовал с дочерью в небольшой светлой комнате с деревянным полом и панелями по стенам, которую недавно пристроили к опочивальне короля. Старый замок Эльсинор все время обновлялся и достраивался. Ромбы багряного вечернего солнца лежали на широких еловых промасленных половицах, оправдывая название «солярий» этих личных покоев в верхних этажах замка. Неглубокий очаг мог похвастать оштукатуренным сводом, самым современным и практичным. Изысканная роскошь парчового занавеса прятала камень стены, обращенной к трехарочному с двумя колонками окну, которое выходило на серо-зеленый Зунд между Зеландией и Сконе. Сконе, на который облизывались шветландцы, был датским владением с Халландом и Блекинге на востоке, Ютландией и Фюном на западе, с островами Лолланн, Фальстер и Мен на юге. Чтобы сохранять в целостности королевство, разбросанное, точно осколки упавшего на пол глиняного блюда, королю требовалась вся его сила, вся хитрость. Поэтому каждый новый монарх всходил на престол лишь после избрания вождями областей, а с утверждением христианства — так и церковными прелатами. В Дании право престолонаследия в силу королевской крови ограничивалось древней демократией тинга — собраниями свободных людей, судившими и управлявшими делами каждой области, а также всей провинцией. Короля избирали четыре провинциальных тинга, собиравшихся в Виборге. Эти традиции замыкали обитателей замка не меньше, чем многочисленные каменные стены, донжон более поздней постройки, барбакан, ворота, парапеты, башни, казармы, кухни, лестница и часовня.

Девочке Геруте часовня казалась обреченным затерянным местом, куда она добиралась, пройдя своими мерзнущими ножками через всю большую залу, потом по галерее и по нескольким небольшим лестницам — неотапливаемой комнатой с высоким сводчатым потолком, где у нее щекотало в носу от пряного запаха ладана. А еще там пахло сыростью запустения и немывыми телами священников в ризах, кое-как справлявших службу и поднимавших круглую белесую облатку к круглому белому окну высоко над аналоем (так что она считала, что, причащаясь, ест небо) под звучание напевной непонятной латыни. В часовне ей становилось страшно, словно ее юное тело было грехом, и когда-нибудь его постигнет кара. Оно будет

пронзено снизу в тот миг, когда она отхлебнет вяжущее вино, едкую кровь Христову из чаши, усаженной драгоценными камнями. Пронзительный холод, латынь, душные запахи вызывали у нее ощущение, что она проклята, на ее природную теплоту словно налагалась епитимья.

Горвендил приехал из Ютландии продолжать свое сватовство. За услуги, оказанные трону, Рерик наградил его с братом двумя соседствующими поместьями в двух часах езды от побережья. Поместье Фенга было поменьше (всего девяносто крепостных), хотя братья равно делили опасности и невзгоды у берегов Норвегии и Шветландии. Фенг был моложе брата всего на полтора года, ниже его на дюйм-два, не такого могучего телосложения и с более темными волосами. Он редко приезжал в Эльсинор и много времени проводил в немецких землях, воюя и шпионя для императора, хотя шпионство именовалось дипломатией. Ему легко давались языки, и он, кроме того, служил французскому королю, чья провинция Нормандия была когда-то датским владением — в героические дни до короля Горма, когда каждый датчанин был воином, искавшим подвигов и завоеваний. Вольное копье Фенга уводило его даже еще дальше на юг, за те Пиренеи, по ту сторону которых сухие жаркие бесплодные земли все больше завоевывались неверными, что бились кривыми мечами, сидя на длиннокостных конях, стремительных, как птицы.

Фенг не был женат, хотя ему, как и Горвендилу, до тридцати уже оставалось недолго. Младшие братья, думала Герута, похожи на дочерей в том, что никто не относится к ним так серьезно, как им хотелось бы. Почему Фенг так и не женился, хотя томление в его темных глазах говорит о жажде страсти.

Его взгляд показался ей в тот раз, когда он и Горвендил приехали в Зеландию, чтобы востребовать благодарность ее отца, был устремлен на нее не просто с мимолетным интересом, который взрослые уделяют резвому ребенку. Но ей трудно было думать об одном мужчине, когда на нее наседали другой, а Горвендил наседали на нее, огромный, в малиновом плаще и кольчуге — мелкие железные колечки посверкивали в лунном свете, как речная рябь. Он преподнес ей подарок: пару коноплянок в клетке из ивовых прутьев — одна черненькая с белыми полосками, другая, самочка, в более тусклом оперении с черными полосками. Едва пленные птички замолкали, он встряхивал клетку, и от испуга они повторяли свою песенку: водопад чирикания, неизменно завершавшийся восходящей нотой, будто вопрос в человеческой речи.

— В один прекрасный день, и скоро, Герута, ты тоже запоешь песню супружеского счастья, — пообещал он ей.

— Я не уверена, что они поют о счастье. Может быть, они оплакивают свою неволю. Почему бы и птицам не иметь столько же настроений, сколько их у нас, но лишь одну-единственную неизменяемую песню для их выражения?

— А в каком настроении ты, красавица? Что-то я не слышу, чтобы ты щебетала о нашей помолвке, о которой объявил твой отец, которую благословил из могилы мой отец и приветствует каждый живой датчанин, если он желает, чтобы наш народ обогатился через союз доблести и красоты, обретающей защиту в мощи первой.

Он произносил эти заученные фразы без запинки, но негромко, испытующе, и его глаза дразняще поблескивали. Эти удлинённые глаза с радужкой до того светлой, что она казалась каменной поделкой, а не живой тканью.

Герута сказала резко:

— Мне следует заключить, что твоя фигура речи подразумевает тебя и меня. Но я уже нахожусь под защитой мощи моего отца, а что до моей красоты, как ты выразился, чтобы польстить мне, так я верю, что скорее поздно, чем рано, она может расцвести на радость мне и моему будущему супругу. — Она продолжала, черпая мужество в его надменном утверждении, будто всей доблестью владеет только он: — Мне не в чем тебя упрекнуть — зеркало воинских достоинств, как все говорят, — тебя, сразившего бедного Коллера со всеми языческими любезностями, а затем и злополучную женщину, Селу. Ты — умелый опытный пират и ведешь дружину на славное избиение рыбаков, почти не имеющих оружия, и монахов, которым нечем защищаться, кроме молитв. Как я уже сказала, мне не в чем упрекнуть тебя как отважнейшего воина, но вот в том, как ты снисходишь до меня через посредство былой дружбы наших отцов, я ощущаю ловкий и холодный расчет. Вчера я еще была ребенком, сударь, и краснею, признаваясь в моей девичьей тревоге.

Он засмеялся, как прежде Рерик посмеялся ее дерзости; уверенный смех, уже собственнический, открывающий короткие, ровные, крепкие зубы. Его самоудовлетворенная грубость убила ее кровь в предвкушении того, как ее тревога будет развеяна и она будет принадлежать ему. Не та ли это радость самоотречения, которую ее няньки и служанки уже извели, восприняли всем своим естеством? Безмятежность покорной добычи, женщины, вдавненной в матрас, крутящейся, как курица на вертеле между пламенем очагов в детской и в кухне. Герута, созревая в девушку, наостряла уши, когда улавливала тот особый тон сонного упоения, с каким женщины (выданные замуж высоко или низко) говорили о своем отсутствующем вездесущем муже, об этом «он», чья фигура отгораживала их тело от вселенной. Эти женщины размякали от того, как их холили и лелеяли ниже живота.

— Ты слишком щедра на возражения, — сказал ей Горвендил, отмечая ее сопротивление с небрежной снисходительностью, которая подействовала на нее как объятие. Она затрепетала в кольце рук надменности этого великана. Она зажигала в нем огонь, который, хотя и приглашенный расчетом, все-таки был достаточно горяч; его существо настолько превосходило ее, что малая доля его воли возобладала над всей ее волей. Устав стоять в большой зале, где она его приняла, он опустил ягодицу на стол, еще не застеленный скатертью для ужина.

— Ты не девочка, — сказал он ей. — Твое сложение величаво и готово служить требованиям природы. И мне не стоит ждать дольше. В следующий день рождения я завершу третий десяток моих лет. Пора мне представить миру наследника, как знак Божьей милости. Милая Герута, что во мне тебе не нравится? Ты подобна этой клетке, из которой рвется на волю полностью оперенная готовность стать женой. Без ложной скромности я говорю тебе, что моим сложением восхищались, чело называли благородным. Я честный человек, суровый с теми, кто мне противится, но мягкий с теми, кто изъявляет покорность. Нашего союза желают все, а больше всех мое сердце.

Заблестели, зазвенели мелкие колечки, когда широкой ладонью в мозолях от рукояти меча он в доказательство ударил себя по груди — по широкой груди, которую в народных сказаниях он смело обнажил перед мечом короля Коллера, но удрученный годами норвежец на роковую секунду опоздал воспользоваться этой возможностью. Горвендил снова обнажил свою грудь, и в ней проснулась жалость к своему жениху, до незащитности уверенного в собственных достоинствах.

Она сказала порывисто, словно и вправду старалась вырваться из клетки:

— Если бы только я могла почувствовать это, услышать, как твое сердце дает клятву! Но ты являешься ко мне, как к удобному решению, ведомый политической волей, а не ища меня.

Он снял шлем, и его кудри, такие же светлые, как тополевые стружки, ослепительным водопадом хлынули на его окольчуженные плечи. Она шагнула к нему, и он наклонился вперед, словно в намерении покинуть свой насест.

— Ты должен простить меня, — сказала она ему. — Я неловка. Я не обучена. Моя мать умерла, когда мне было три года, и меня воспитывали служанки и те женщины, которых мой отец держал при себе не для того, чтобы они вскармливали его одинокую дочку. Я жестоко страдала из-за потери матери. Возможно, я возражаю против бесчувственной природы, если вообще возражаю.

— А как мы можем не возражать? — в свою очередь порывисто сказал Горвендил. — Сосланные из обители ангелов жить на этой земле среди скотов и грязи, приговоренные к смерти, заранее в муках зная о ней!

Он уже не сидел небрежно, а стоял перед ней — на голову выше ее, с грудью шире, чем ее пальцы, с поблескивающей светлой щетиной на подбородке, чья недобритость свидетельствовала об утренней торопливости и опасениях: он встал рано и два часа провел в седле, чтобы объяснить с ней. Идеал нордического красавца чуть портила в нем какая-то мягкость, которая особенно неприятно проглядывала в этом двойном подбородке, и Герута спросила себя, удастся ли ей, когда они поженятся, уговорить его отрастить бороду, как у ее отца.

Ей понравилась неожиданная теплота его слов, но что-то в их смысле ее встревожило: его вспышка выдала презрение и пренебрежение, будто из иного мира, до этого мгновения спрятанные за невозмутимостью воина — капля горечи в бродящих соках его молодости. И даже в этот миг откровенности он не сосредоточился на ней, а видел ее частью парчовой вышивки, невестой из серебряных нитей, но не статуей, каменным ангелом или раскрашенной деревянной Пресвятой Девой, равной взрослому мужчине.

Теперь, оказавшись рядом с ней в своем внезапном отречении от мира, любого мира, кроме того, который он упрямо созидал, Горвендил обнял Геруту. Однако не нагнул для поцелуя, а только приблизил свои напряженные решительные губы к ее глазам и сцепил руки у нее на спине, притянув ее к себе. Она чуточку повырывалась, поизвивалась, но звон колокольчиков на ее поясе напомнил ей о нелепости сопротивления в присутствии тех, кто присутствовал при их свидании. Ее служанка Герда, оруженосец Горвендила Свенд, стражи замка, неподвижно застывшие у каменных стен залы под огромными дубовыми балками потолка — призраками леса. Некогда их покрыли яркими красками, украсили резьбой, и теперь еще с них свисали

рванные выцветшие полотнища знамен, добытых в битвах датскими монархами, давным-давно погребенными в склепах истории. Ей казалось, что она поймана в неподвижность нитей основы на ткацком станке и ее колотящееся сердце расплущилось между ними. Только пташки, коноплянки, в голодном метании — с жердочки на пол клетки, снова на жердочку — испускали обрывочные трели своей песенки. Она прижала стучащие виски и покрасневшее лицо к прохладному железному кружеву кольчуги на груди Горвендила, и овсянка разразилась длинной весело-непристойной мелодией, отозвавшейся в ребрах Геруты блаженным стискиванием. Бежать было некуда. Этот мужчина, эта судьба предназначены ей. Она в полной безопасности, как туго перепеленутый младенец.

Но даже теперь, в этот искомый миг, когда она сдалась, ее нареченный думал о другом.

— Они питаются семенами льна и конопли, — сказал Горвендил.

Про птиц. — Конопляное семя. Если насыпать им семян поглубже, они заболевают в знак протеста.

Она откинула лицо, напоминая ему о себе, и он лукаво провел костяшками закрученной руки по ее щеке — там, где его кольчуга оставила багровый отпечаток переплетенных колечек.

Горвендил, ют, в целом был таким мягким, каким обещал, и мрачным, занятым до жестокости, чего — говорила она себе, испытывая потребность думать о нем хорошо, — он просто не замечает. Их свадьбу сыграли в белых глубинах зимы, когда дела войны и урожая погружаются в сон, так что гости Шроньг Спокойно могли неделю добираться до Эльсинора и остаться там на две. Церемония заняла долгий день, начиная с ее омовения на заре и очистительной мессы, которую отслужил епископ Роскильдский, до буйного пира, в разгаре которого гости, насколько Герута могла разобрать усталыми слезящимися глазами, скармливали столы и стулья ревущему огню в двух больших очагах в противоположных концах большого зала. Языки пламени метались, как люди под пытками, дым не успевал вытягиваться в дымоходы и сизым туманом висел над их головами. Ее отягощало столько ожерелий из кованого золота и драгоценных камней и такое негнущееся обилие бархата и парчи, что у нее разболелись шея и затылок. Танцы и вино раскрепостили ее тело до звериной бесшабашности. Теперь ей было уже семнадцать, она кружила в отблесках огня, ощущая потное сплетение с мужскими и женскими пальцами в цепи хоровода — извивающиеся пальцы, жирные после пира, а музыканты тщились извлечь из лютни, флейты и бубна звуки достаточной силы, чтобы их хрупкие мелодии пробивались сквозь шарканье и уханье пьяных датчан. Музыка проникала в самые кости Геруты, она чувствовала, как покачиваются ее бедра, слышала звон и позвякивание праздничных колокольчиков у нее на талии. Ее светло-медные волосы в эту последнюю ночь перед тем, как ей придется на людях прятать их под чепцом замужней женщины, колыхались, взметывались в воздухе, освещенном десятками промасленных камышин, которые торчали из стен, будто связки плюющих огнем копий, держа в осаде веселящихся гостей. Новобрачные возглавляли величавую процессию танцующих; французский мим с бубенчиками на колпаке показывал им фигуру за фигурой. Танцы были нелегкой новинкой. Церковь все еще взвешивала, не объявить ли их грехом. Однако ангелы ведь поют и ликуют.

Когда отец давал ей прощальное благословение, он впервые показался ей слабым — лицо у него пожелтело после героического упития сыченым медом, как полагалось королю. Фигура его сгорбилась под великим бременем королевского радушия; глаза слезились от дыма или наполнились слезами перед разлукой. Видел ли он ее, свою дочь, вышедшую замуж, как он того требовал, или видел утрату последнего живого напоминания об Онне?

Сани, украшенные оленьими рогами и ветками остролиста, умчали их из Эльсинора в поместье Горвендила, называвшееся Одинсхеймом. Копыта лошадей месили снег, так что двухчасовая поездка потребовала в полтора раза больше времени, а ледяная ночь повисла над ними на разбитой оси в блеске звезд. В вышине пылала продолговатая луна, ее лучи скользили по голым полям в щетине стерни, по метелкам трав оледенелых болот. Герута то погружалась в сон, то пробуждалась, наслаждаясь явью плотного тела ее мужа под волчьей полостью. Сначала он говорил о праздновании свадьбы — кто был там, кого не было и что означало их присутствие и отсутствие в паутине благородных судеб и союзов, которые не позволяли Дании рассыпаться.

— Старик Гильденстерн говорил, что король Фортинбрас, сменивший короля Коллера на ристалище норвежских притязаний, нападает на берега Тая, где они наиболее пустынно и наименее защищены. Норвежца следует проучить, не то он попытается захватить Вестервиг и Споттрап вместе с плодородными землями Лим-фьорда и провозгласить себя законным правителем Ютландии.

Голос Горвендила обрел непринужденный и уверенный тембр официальных речей и совсем не походил на озабоченный, приглушенный голос, каким он разговаривал с ней. Едва его сватовство перестало встречать сопротивление, он стал обращаться к ней размеренным тоном, любезно, с положенной любовью или же становился попросту резок, куда-то торопясь по коридорам Эльсинора. Он уже чувствовал себя в замке, как дома.

— Твой доблестный отец как будто уже не в силах возглавить войско, и все же гордость не позволяет ему передать власть над войском другому.

— Теперь у него есть зять, — сонно пробормотала Герута, — которого он уважает.

Пропитанное винными парами дыхание Горвендила кислотой въедалось в широту звездной ночи, снега, отраженного света луны, обрезанной на четверть. Чем выше луна поднималась, тем меньше и четче и более сияющей она становилась. И походила не столько на фонарь, сколько на камень, выброшенный в солнечные лучи из тенистой рощи.

— Уважение — это хорошо, но оно не передает власть. Когда Фортинбрас постучит в дверь, уважением ее не запереть.

Он подождал ответа, но ответа не было. Герута уснула, возвращенная покачиванием саней в качающуюся колыбель ее детской, где тонкая смуглая рука ее матери переплавилась в морщинистую клешню ее старой няньки Марлгар, а куклы маленькой принцессы с личиками из стежков и линий, начерченных древесным угольком, были живыми и с именами — Тора, Асгерда, Хельга. В смеси детских фантазий и желания командовать, которая оборачивается миниатюрной тиранией, она посылала их в путешествия, выдавала замуж за героев, состряпанных из раскрашенных палочек, швыряла их на пол в

судорогах смерти. В своем брачном сне она вновь была с ними в своем маленьком сводчатом солярии под бдительным оком няньки, только они были больше, извивались в танце и сталкивались с ней, равные ей по росту, с огромными лицами, с носами из собранной в складку ткани, с глазами из глиняных бусин; голодные, одинокие, они хотели от нее чего-то, но не могли открыть рты из стежков и назвать то нечто, которое, как было известно и ей, и им, она могла бы им дать, но только не сейчас, умоляла она, только не сейчас, мои милые...

Покачивание прекратилось. Сани остановились перед темным входом в господский дом Горвендила. Ее муж под волчьей полостью тяжело навалился на нее, вылезая из саней. Его брат, Фенг, на свадьбу не приехал, но прислал из южного края искусных ремесленников серебряное блюдо, богато украшенное хитрыми узорами. Большой, отражающий свет овал этого блюда мелькнул у нее в уме и унесся прочь, когда рогатые сани остановились.

— Почему твой брат не приехал? — спросила она из паутины своих сновидений.

— Он сражается на ристалищах и блудит к югу от Эльбы. Дания для него слишком тесна, если в ней я.

Горвендил обошел сани со стороны лошадей, дрожащих в облаках собственного пара, и остановился, ожидая — неподвижным призраком в лунном свете, — чтобы она упала в его объятия и он мог бы внести ее в свой дом. Она хотела быть легкой пушинкой, однако он крякнул, распространив запах перегара. У самых ее глаз его тонкие губы сложились в гримасу. В лунном свете его лицо казалось бескровным. Его дом был большим, хотя и не окружен рвом, но комнаты после Эльсинора казались низкими и тесными. Очаг внизу не топился. Слуги, еще толком не проснувшиеся, пошатываясь, светили им факелами. Они прошли по извилистому коридору к винтовой каменной лестнице. Пока они поднимались, перед ними возникали и дрожали длинные треугольные тени. Они миновали проходную комнату, где спал одинокий страж. Огонь в очаге их опочивальни поддерживали уже несколько часов, а потому там стояла жаркая духота. Герута с облегчением сбросила тяжелый плащ с капюшоном, подбитый горностаем, сюрко без рукавов из парчи, затканной крестами и цветочками, голубую тунику с широкими ниспадающими рукавами, расшитую у шеи драгоценными камнями, белую котту под ней с более длинными и узкими рукавами, пока наконец не добралась до тонкой белой камизы, прилипшей к коже после стольких танцев. Плотная молчаливая женщина трясущимися руками развязывала шнурки и плетеный пояс и завязки на кистях, но предоставила ей сбросить камизу наедине с Горвендилом. Что она и сделала, переступив через сброшенную одежду, точно через край чана для омовения.

В огненных бликах ее нагота ощущалась как тончайший металлический покров, потаенное одеяние ангелов. От шеи до лодыжек ее кожа никогда не видела солнца. Герута была беленькой, как очищенная луковица, гладенькой, как только что выдернутый из земли корешок. Она была нетронутой. Эту прекрасную нетронутость, сокровище всей ее жизни, она, стряхнув с себя оцепенение, навеянное бешеной пляской огня, чья скованная очагом ярость заставляла пламенеть кончики ее распущенных волос, приготовилась по закону людскому и Божьему принести в дар своему мужу. Она испытывала возбуждение. И повернулась показать ему свою чистую грудь, такую же уязвимую, какой была его грудь, когда он обнажил ее в

прославленный роковой миг перед занесенным мечом Коллера. Он спал. Ее муж в ночном колпаке грубой вязки рухнул в сон после изобильного празднования и почти часового купания в зимнем воздухе, завершившегося в сауне этой опочивальни. На одеяле расслабленно лежала длинная сильная рука, словно обрубленная у плеча, где под эполетом золотистого меха поблескивал нагой шар бицепса. Нитка слюны из обмякших губ поблескивала как крохотная стрела.

«Мой бедный милый герой! — думала она. — Влачить по жизни такое огромное мягкое тело и располагать только сообразительностью да кожаными щитом, чтобы не дать изрубить его в куски». В это мгновение Герута постигла тайну женщины: есть наслаждение в ощущении любви, которая сливается, будто жар двух противоположащих очагов, с ощущением быть любимой. Поток женской любви, раз хлынувший, может быть запружен, но лишь ценой великой боли. В сравнении любовь мужчины лишь брызнувшая струйка. Она увлекла свое нагое мерцающее тело к их кровати с единственной свечой в поставце возле нее, нашла свой ночной чепец, сложенный на подушке, будто пухлая, простецкая любовная записка, и уснула под сенью сна Горвендила, довольно-таки громового.

Проснувшись поутру, смущенно узнав друг друга, они исправили промашку брачной ночи, и окровавленная простыня была торжественно представлена старому Корамбусу, камерарию Рерика, прикатившему из Эльсинора на лыжах по глубокому снегу с тремя официальными свидетелями — священником, лекарем и королевским писцом. Ее девственность была государственным делом, так как Горвендил, без сомнения, должен был стать следующим королем, а ее сын — следующим после него, если на то будет милость Божья. Дания стала провинцией ее тела.

Дни исцелили боль дефлорации, а ночи приносили мало-помалу обретенное наслаждение, однако Герута не могла изгнать из памяти, как была отвергнута, когда, возбужденная собственной красотой, обернулась, чтобы принять пронзение, которого не последовало. Идеальный влюбленный не уснул бы в ожидании своей награды, каким бы усталым и одурманенным он ни был. С тех пор Горвендил был достаточно пылок, и с его аккуратных губ срывалось много похвал, когда они впивались в ее плоть, а пронзаний хватало бы, чтобы наполнить ведро, однако она, чувствительная принцесса, ощущала в его страсти некую абстрактность: это было лишь одно из проявлений его жизненной энергии. Он был бы страстен с любой женщиной, как, конечно, бывал со многими до нее. И его преданность ей не помешала бы ему даже в недолгой разлуке с ней воспользоваться хорошенькой полонянкой из Померании или служанкой-лапландкой.

Горвендил был христианином. Он почитал Гаральда Синезубого, отца современной Дании, чье обращение в христианство лишило германского императора излюбленного предлога для нападений — покорения язычников. История снизошла к датчанам на рунических камнях — Гаральда в Еллинг гласил: «Тот Гаральд, который сделал датчан христианами». Геруту больше трогал камень, который оставил в Елlinge отец Гаральда: «Король Горм воздвиг этот памятник Тире, своей жене, славе Дании». Слава Дании: Горм знал, как ценить

женщину в те времена, когда Крест еще не явился затупить дух датчан. Христианская вера подкрепляла склонность Горвендила к угрюмости, но, когда он отправлялся в набеги на своем длинном корабле, не противостояла старинной воинской этике грабежей и самозабвенному упоению сечью. Христос был у всех на устах, но в сердце своем датчане по-прежнему почитали Тира, бога атлетических состязаний и войны и плодородия. Благородная жена могла ожидать почитания, но не в просторах, лежащих за маленьким кругом домашнего мира, огораживающим женщин и детей, — беспощадных просторов, где мужчины справляются с необходимостью кровопролитий и соперничества. С тех пор как Герута покорила воле отца, она приобрела репутацию разумности и рассудительности. Она была добра с низшими и быстро распознала ограничения, налагаемые положением вещей. Добропорядочная женщина лежит в постели, постеленной другими, и ходит в башмаках, изготовленных другими. Кротость ее пола помогала ей исполнять все это с достоинством и даже с рвением. Значительная часть ее существа не могла не почитать мужчину, который владел ею, который давал ей кров и защиту, и — а это ключ к любым правильным отношениям — использовал ее. Быть полезной и занятой делом — вот что придает блеск священного предназначения каждому буднему дню. Небесная воля Бога воплощается здесь в надлежащих обязанностях. Без такого воплощения дни завопят. И явится томительная скука. Или война.

Ибо тело Геруты вскоре уже деловито творило еще одно. Первая весенняя оттепель совпала с пропуском ее месячных. И второй пропуск — когда трава зазеленела с солнечной стороны стен Одинсхейма. К тому времени, когда ласточки, вернувшись из своего зимнего рая, который ей никогда не придется увидеть, хлопотливо закружили над прудом с пучками сухих стеблей и комочками глины для балкончиков своих гнезд под стрехами амбара, она уже твердо уверилась и выпустила из клетки пару коноплянок, которых Горвендил привез ей как свадебный подарок. Самец, более темный, с более четкими полосками, словно бы растерялся — кружил по опочивальне, опускался на шкаф за занавесками, будто ища нового ограничения своей свободе, а вот маленькая тусклая самочка сразу выпорхнула из открытого окна и запела свою песенку на ветке ивы среди юных листьев в ожидании, когда ее супруг присоединится к ней.

— Поспеш, поспеш, — насмешливо попеняла ему Герута, — не то она найдет другого!

Пока существо внутри нее росло, смещая органы, о которых она прежде и представления не имела, вызывая неприятные вспышки раздражения и неутолимых потребностей, тошноту и слабость, ее отец угасал. Желтизна и худоба, которые она заметила в день свадьбы, усиливались и усиливались, пока он, казалось, не съежился в ребенка, свернувшегося в постели вокруг болезни, пожирающей его. Рерик, разумеется, не снисходил до жалоб, но когда она была на шестом месяце и ее недомогания сменились тихим сонным состоянием черного ублаговторения, он сказал ей с улыбкой, раздвинувшей его усы под косым углом, что чувствует себя в когтях кровавого орла. Он подразумевал казнь времени саг, когда ребра человека отрубались от его хребта, а сердце и легкие вытаскивались из зияющей багряной раны, и возникал клекочущий кровавый орел. Говорили, что некоторые благородные пленники умоляли об этой казни, чтобы показать свою храбрость.

Герута не любила слушать о подобном, о жестоких пытках, которые мужчины измышляли друг для друга, хотя боль и смерть были глубинной частью природы, сотворенной Богом. Ее отец заметил гримасу отвращения, скользнувшую по ее лицу, и сказал мягким голосом, которым всегда пользовался, чтобы нравоучение запечатлелось навсегда:

— Все можно вытерпеть, дитя мое, если нет выбора. Моя смерть шевелится во мне, а твой ребенок в тебе. И она, и он возьмут свое, как этого требуют боги. — Рерик усмехнулся такому своему возвращению к язычеству. Он положил сухую горячую руку на ее влажную, мягкую и сказал: — Священники, с которыми советуется твой муж, не устают повторять нам, что каждый из нас несет свой крест в подражание Христу. Или Христос взял крест в подражание нам? Как бы то ни было, страданий хватает, чтобы поделить на всех, а если священники говорят правду, я скоро увижу Онну, такой же молодой, какой она была, когда умерла, и с ней я снова буду молодым. Если же они рассказывают сказки, разочарования я не почувствую. Я уже ничего не буду чувствовать.

— Горвендил слушает священников, — сказала она, следуя долгу жены, — потому что, говорит он, они знают мысли крестьян.

— И имеют связи с Римом и со всеми теми землями, где Рим насадил свои церкви, проповедующие Ад. Горвендил прав, моя милая доверчивая дочка. Эта религия рабов, а за ними — крестьян и торговцев — заключает в себе будущее. Неверных сокрушают в Святой земле и в Испании, а здесь на севере, последней части Европы, покорившейся Риму, языческие алтари отныне всего лишь ничего не значащие камни. Крестьяне более не знают, что эти камни знаменуют собой, и увозят камни, чтобы огораживать свинарники.

Геруту крестили и воспитали в христианской вере и обычаях, но двор ее отца, порой по-холостячки буйный, особым благочестием не отличался. Она полагала, что взгляды самого Рерика на главное — откуда мы и куда идем — совпадают с общепринятыми, как и ее собственные.

— Отец, ты говоришь насмешливо, но Горвендил стремится стать через свою веру не только лучше, как господин для своих вассалов, но и лучше, как человек, для равных себе. Он ласков со мной, даже когда его расположение духа не позволяет ему желать меня.

Про себя она подумала, что его потребность в ней слабеет по мере того, как ее беременность становится все более явной, а ее потребность убеждаться в своей красоте все возрастает.

— Он хочет быть хорошим, — закончила она с жалобным простодушием, удивившим ее собственный слух, словно вдруг залепетал погребенный в ней ребенок.

— Я предпочел бы услышать от тебя, что он уже хорош, — объявил Рерик сквозь боль. — И насколько же он недотягивает в своем хотении?

— Ни на сколько, — сказала она резко. — Совсем ни на сколько. Горвендил чудесен. Он во всех отношениях великолепен, как ты и обещал.

В этом напоминании о заверениях, служивших его собственным целям, была некоторая доля злобности. Пока умирающие еще живы, живые их не щадят.

— Во всех отношениях, — повторил он наконец и вздохнул, словно ощутив мстительность ее ответа. — Между двумя людьми

такого быть не может. Даже Онну и меня разделял языковой барьер, разлад невысказанных надежд. Никакое соединение в браке не дает полного единения. В сыновьях Горвендила живет дикость Ютландии. Это угрюмый край, где среди безлюдья пастухи сходят с ума и проклиняют Бога. Месяцами чернотрубные тучи висят над Скагерраком, не рассеиваясь. Горвендил ищет стать хорошим человеком, но Фенг, его брат, не занимается своим, соседним поместьем и заложил почти все свои ютландские земли, чтобы отправиться искать судьбу на юге — как я слышал, он добрался даже до бывшего владения норманнов, острова, который называется Сицилия. Это необузданное и губительное поведение. Я обманул тебя, милая дочка, настояв на твоём браке с сыном Горвендила? Я ведь и тогда чувствовал в себе рокового червя и хотел увидеть тебя под надёжной защитой другого мужчины.

— И я под очень надёжной защитой, — сказала она нежно, поняв, что этот разговор был для Рерика извинением на случай, если такое извинение понадобится. Но ничего дурного не произошло, решила благоразумная Герута: её брак не оставлял желать ничего лучшего.

Рерик умер, и предстоящие выборы обещали быть в пользу Горвендила. Герута, чтобы не ездить туда-сюда, переехала в Эльсинор со своей прислугой ухаживать за умирающим отцом. После его пышных похорон на туманном каменистом кладбище, где истлевали кости обитателей Эльсинора — законник смешивался с кожевником, придворный с палачом, девушка с сумасшедшим, — Горвендил переехал в королевский замок к жене, преждевременно поселившись в покоях короля на те недели, пока тинг собирался в Виборге. Несколько голосов было отдано за Фенга, как брата, пусть на полтора года и моложе, зато осведомленного в чужеземных обычаях, а потому более способного брать верх над хитрыми замыслами немцев, поляков и шветландцев, не прибегая к войне, поскольку война по мере того, как спокойно убраны урожаи и беспрепятственная торговля повышали благосостояние обитателей и замков, и убогих хижин, все больше выходила из моды. Другие высказывались за того или иного члена знати — в первую очередь графа Голстена, — чьи родственные связи обещали более надёжно удерживать в единении все части Дании на северной окраине раздираемой смутами Европы. Однако почти никто не сомневался, что заключительное голосование в Виборге будет в пользу Горвендила, победителя Коллера и супруга Геруты.

Только Корамбус, камерарий Рерика, негодовал на торопливость, с какой Горвендил заранее занял место короля. Хотя Герута считала его стариком, Корамбус был сорокалетним здоровяком, отцом младенца-сына и мужем совсем ещё юной жены Магрит из Мона, до того светлой, что она казалась прозрачной, и до того эфирно-чувствительной, что её речи нередко исполнялись колдовской загадочностью или же становились мелодично-бессмысленными. Она недолго прожила после своих вторых родов десять лет спустя, а Корамбус (если и тут заглянуть вперед) так полностью и не подавил свою неприязнь к Горвендилу, которого про себя считал неотесанным узурпатором. Хотя он скрупулезно выполнял все свои обязанности, служа новому королю, истово Корамбус служил королеве и любил её, единственное дитя Рерика, единственное живое вместилище его

властного духа. Полюбил он ее еще приветливой, сияющей жизнью маленькой принцессой — как и все обитатели Эльсинора, ежедневно с ней соприкасавшиеся. И даже когда Герута стала замужней женщиной, его любовь не отвратилась от нее, но сохранялась, быть может, рождая ревность, хотя Герута считала его стариком, а его манера держаться с ней уже давно стала осмотрительной, хлопотливой и поучающей. Еще до того, как из Виборга прибыли гонцы с вестью о предрешенном избрании — единодушном при полном согласии всех четырех провинций, — Горвендил уже испрашивал поддержки знати, чтобы выступить против Фортинбраса. Коронационный обряд был исполнен наспех, заверченный созывом войска, чтобы изгнать норвежского завоевателя из Ютландии — из тех ее мест, где он успел укрепиться. Пока эти военные приготовления торопливо завершались, Герута медленно все созревала и созревала, и ее красиво вздувшийся живот засеребрился сетью растяжек. И произошло одно из тех совпадений-предзнаменований, которые служат вехами в календаре человеческой памяти: золотобородый Фортинбрас был встречен, разбит и сражен среди песчаных дюн Ти в тот самый день, в который королева, вытерпев муку кровавого орла, родила наследника, нареченного Амлетом. Младенец, посиневший в борьбе, которую разделял с ней, появился на свет в рубашке, признаке то ли величия, то ли обреченности, гадатели тут судили по-разному. Имя, которое предложил Горвендил, знаменовало его победу в дюнах на западе Ютландии над вздымающим валы Скагерраком, приводя на память стихи, в которых барды воспевали Девять Дев острова Милл, что в давние века мололи муку Амлета — *Amloda molu*. Что означали эти слова, не помнили даже сами барды, передававшие их из поколения в поколение, пока они не истерлись до глади, точно галька. Мука истолковывалась как песок на берегу, мельница — как перемалывающие мир жернова, обращающие в прах всех детей земли. Герута надеялась назвать ребенка Рериком, почтив своего отца и дав ему залог будущего царствования. Горвендил предпочел почтить самого себя, хотя и косвенно. Вот так ее только-только расцветшей любви к плоду ее тела коснулась порча. Амлет, со своей стороны, находил ее молоко кислым — во всяком случае, он плакал почти всю ночь, переваривая его, и даже когда его рот впивался в покалывающую грудь, он морщил нос от отвращения. Он не был крупным — иначе день родовых схваток мог бы растянуться, пока она не умерла бы, — и даже не очень здоровым. Ребенок все время страдал от какого-нибудь недомогания. То колики, то сыпь в паху, не говоря уж о бесконечных простудах и коклюше, о лихорадках, которые надолго укладывали его в постель, и по мере того, как он рос, это начало вызывать у нее — здоровой и бодрой чуть ли не каждый день ее жизни — раздражение, как потакание слабости и лени. Когда на мальчика снизошли дары речи и воображения, он начал заносчиво спорить по всякому поводу с матерью, священником и своим гувернером. Только беспутный и, возможно, помешанный шут Йорик, казалось, снискивал его одобрение: юный Амлет любил шутки — до того, что считал весь мир, сосредоточенный в стенах Эльсинора, только шуткой. Шутливость, казалось его матери, служила ему щитом, чтобы укрыться от сурового долга и от всех сердечных чувств. Ее сердце ощущало себя отброшенным. Что-то сдерживало ее любовь к этому болезненному, впечатлительному, бойкому на язык ребенку. Быть может, она слишком рано стала матерью. Какой-то этап

ее жизненного пути был пропущен, а без него невозможно было перескочить от любви к своему отцу на любовь к своему ребенку. А может быть, вина была ребенка: подобно тому, как на свеженавощенном столе или на только что смазанной коже вода собирается в шарики, так и ее любовь, казалось ей, разбрызгивалась по Амлету и оставалась на его поверхности, не всасываясь, будто бусины ртути. Он был крови своего отца — сдержанный, отчужденный, ютская угрюмость, укрытая под аффектированными манерами и изысканными занятиями знатного юноши. И не просто знатного — он же был принцем, как Герута в свое время была принцессой. Она задумывалась, не проглядывает ли в пробелах ее материнского чувства ее собственное детство без матери. Она допускала, чтобы няньки, гувернеры, учителя верховой езды, мастера в бое на мечах вставали между ней и подрастающим сыном. Его игры словно придумывались для того, чтобы исключать и отталкивать ее: непонятные, оглушительные игры с палками и веслами, луками и стрелами, игральными костями и шашками, а еще шумное подражание войне, в которой он, бледный от напряжения, визгливым голосишком отдавал приказания шути Йорику и немытым сыновьям сожительниц замковых стражей. Тихим обручам, волчкам и куклам детства Геруты не было места в этом мужском мире метательных фантазий, ударов и контрударов и стремления «сквитаться», потому что в самый разгар воплей и схваток, замечала она, велся строгий счет, как и в более кровавой бухгалтерии взрослой войны. Вот как Горвендил хвастал, что король Фортинбрас, пав от меча, тем самым потерял не только то, что успел захватить в Ютландии, но и некоторые земли к северу от Холланда на побережье Шветландии между морем и великим озером Ветерн, земли, удерживаемые не из-за их ценности, которая была очень мала, но как заноза в теле противника, как язва бесчестия. И как у нее не было ни братьев, ни сестер, так не было их и у Амлета. Ее неспособность понести еще раз, чувствовала она, была наказанием от Бога за скудость ее материнского чувства, скрыть которую от Него она не могла. И она так тревожилась, что заговорила об этом с Гердой, служанкой, которая семь лет назад была свидетельницей того, как она покорила Горвендилу. За эти годы Герда вышла замуж за Свенда и родила ему четверых детей, прежде чем королевский оруженосец был убит в одной из стычек Горвендила с норвежцами, королем которых теперь стал брат Фортинбраса, щеголь-обжора, лишенный всякого боевого духа. Горвендилу нравилось наносить удары по пренебрегаемым рубежам этого изнеженного короля.

— Милый малютка Амлет, — сделала пробный заход Герута, — кажется таким одиноким, таким угрюмым и капризным в свои пять лет, что король и я уже давно подумываем, не сделает ли маленький братик или сестричка его более общительным и человечным?
— Может, и сделает, — сухо ответила Герда. Она была в белом — знак траура по Свенду. Его смерть год назад — во время налета на предполагаемо беззащитный маленький рыбачий порт, разбогатевший на торговле сельдью и, как оказалось, коварно нанявший для своей защиты шотландских воинов, — оставила ее заметно подавленной. Иногда Герута замечала в своей прислужнице озлобление против престола. Монархия накапливает обиды и врагов с такой же неизбежностью, как мельничная запруда — ил.
— Я сказала «человечным», — продолжала Герута, — потому что

все чаще и чаще замечаю в обращении Амлета с нижестоящими — лакеями, прислужниками и маленькими товарищами из гарнизонных детей — определенную жестокость, замаскированную под шутки и баловство. Он и этот гнусный Йорик непрерывно изводят бедного, всегда озабоченного камерария своими хитрыми проделками и дурацкими требованиями.

— Насколько я знаю, госпожа, наличие брата или сестры вовсе не смягчает душу. Нас у отца с матерью было девятеро — кто робкий, кто дерзкий, кто добрый и послушный, кто совсем наоборот. Мы притирались друг к другу, как камешки в ведре, но песчаник оставался песчаником, а кварц — кварцем. Юный принц ничего плохого не хочет: сердце у него доброе, только вот голова забита всякой всячиной.

— Если бы его отец занимался им больше... Амлет смеется надо мной, даже когда изображает почтительность. Ему еще и шести нет, а он уже знает, что женщин можно не слушаться.

— Его величество приглядывается к нему. Ждет, пока не наступит время закалять мальчика. Тогда он за него возьмется.

— Ты и Свенд... — Она замялась.

— Мы были счастливы, твое величество, ну, как это бывает у низкорожденных.

— Твои дети... я тебе завидую. У тебя есть они. А они имеют друг друга. Вы со Свендом молились, чтобы у вас родилось их столько?

— Ну, помнится, молитв тут особо не требовалось. Они просто рождались, как заведено на свете. Не то чтобы мы их так уж хотели или не хотели. Может, иногда, если уж очень их хотеть, трут, так сказать, отсыревает. И искры пропадают впустую. Ну а король столько времени проводит вдаль, расширяя свои владения и круша норвежцев, что, может, пропускает назначенные сроки. Это Божья воля и Божья тайна. Для большинства нас трудность не в том, как их нарожать, а как их прокормить.

Герута вся подобралась, не желая увидеть себя такой, какой ее видели низшие, — королевой, понятия не имеющей о тяготах простых людей.

— Как странно, что Бог, — согласилась она, — дарит детей тем, кто не в силах их прокормить, и не посылает их тем, кому это не составило бы труда, будь их хоть сотня.

Герда помолчала, словно распухнув от недоумения, — поджатые губы будто пробка на розовом лице. Наконец она сказала:

— Дозволено ли спросить, ты часто говорила со своим царственным супругом, что хочешь иметь еще детей?

— Так часто, как допускают приличия. Ему словно бы даже больше меня хочется иметь еще наследников. Он хочет стать основателем династии, и ему не нравится, что все его надежды висят на одной ниточке. Принц не крепок здоровьем. А его нервический характер не сулит стойкости к ударам.

— Возможно, появление братика или сестрички вот сейчас было бы сильным ударом. У короля есть брат, но я не слышала, чтобы его величество это так уж радовало.

— Фенг пожелал покинуть Данию и искать свое счастье в пределах все дальше и дальше к югу.

— И может, для короля это благо. Отсутствие бывает драгоценным даром. А что до деликатного дела, о котором твое величество так лестно заговорило со мной, повитуха могла бы дать более подробный совет, хотя, глядишь, и испугается показать во

дворце, что знает слишком много, чтобы под конец ее не повесили как колдунью или не четвертовали бы как изменницу. Мой совет — позволить природе идти своим путем, не дающим нам никакого выбора. Все идет своим чередом, как бы мы ни хлопотали и ни колготились.

— Я постараюсь быть еще более кроткой и покорной, — резко оборвала разговор Герута, сердясь на себя за то, что попыталась искать мудрости столь низко.

Шли годы, и хотя королева редко уклонялась от постельного долга жены, принц оставался единственным ребенком. Когда он достиг отрочества, внезапно став длинноногим, а на его верхней губе появились шелковистые протоусы, Герута, еще более терзаемая ощущением отчуждения от всего, что должно было служить ей источником радости, обратилась к Корамбусу, последнему еще живому придворному Рерика, человеку, чья привязанность к ней казалась ей ее ровесницей. Если ее отец был жизнедарующим солнцем, то Корамбус был луной, отражающей его свет в гармоничном отдалении, озаряя ее, когда Рерик навеки скрылся за горизонтом. Его приветствие, которое она слышала по нескольку раз на дню, когда их пути скрещивались в каменном лабиринте Эльсинора: «Как чувствует себя моя милостивая госпожа?» — в этот первый и единственный раз было встречено распоряжением — жалобным, хотя и облеченным королевским достоинством, явиться к ней для короткой аудиенции. Час спустя она приняла его в солярии с еловым полом, который когда-то был опочивальней Рерика, но который она сделала своим личным убежищем, где читала рыцарские романы, вышивала и смотрела через трехарочное окно с двумя колонками на серо-зеленый Зунд, чьи волнующиеся угрюмые просторы, казалось, обладали свободой, которой она завидовала.

— Мой дорогой старейший друг, советник моего отца, а ныне моего возлюбленного супруга, — начала она. — Мне любопытно узнать, что думаешь ты об успехах Амлета. Его занятия, все более мужские и военные, все дальше и дальше уводят его из-под моего надзора, надзора слабой женщины.

В первых воспоминаниях Геруты о нем Корамбус выглядел худощавым, однако дородность настигла его еще в молодости, а высокая должность, требовавшая терпеливых и обильных застолий, к пятидесяти пяти годам окончательно преобразила его фигуру. Однако он сохранял определенную ловкость, энергично двигался внутри невидимых ограничительных опор своих представлений о себе как о совершеннейшем придворном, надежном столпе престола. Он осторожно опустился в трехное кресле, треугольное сиденье и узкая спинка которого мало подходили для его телосложения, и наклонил большую голову (ее шарообразность подчеркивалась неожиданно маленькими ушами, носом и козлиной бородкой, торчащей из его подбородка) — воплощенное внимание. Он изъяснялся мгновенными округленными жестами — изящно поднятый указательный палец, умелое подмигивание, — присущими человеку, чье физическое сложение вполне соответствует его понятию о важности его положения.

— Принц прекрасно управляется с боевым конем и редко

промахивается по голове, груди и животу соломенного чучела, когда поражает его копьем. Тетиву лука он натягивает твердой рукой, но чуть торопится пустить стрелу. В шахматы он играет посредственно, не имея таланта рассчитывать наперед; в поединках полон огня, хотя ему не хватает отполированности ударов; латынь у него на уровне человека, думающего только по-датски. В остальном его не в чем упрекнуть. Он *rex in ovo*, как и следует поистине *natura naturans* [1]. Однако глаза на внушительном лице старого советника смотрели настороженно из-под жесткой зеленой шляпы в форме сахарной головы с полями. Он ждал, чтобы Герута выдала себя. Волосы свисали из-под шляпы сальными желтовато-седыми прядями, которые оставили темную полосу вокруг высокого воротника его упелянда, и — еще один неаппетитный штрих — его нижняя губа словно бы слегка ему не подчинялась — чуть брызгала слюной при произношении некоторых свистящих и шипящих звуков, а в покое скашивалась в ту или иную сторону.

Королева спросила:

— А он не кажется... как бы это выразить?.. жестокосердным?

Непочтительным со старшими, бездушным с низшими? Нет ли какого-то безрассудства в его настроениях, которые так быстро и странно меняются? Со мной он то ласков, словно понимает меня лучше кого-либо в мире, то — в следующую минуту — он уже просто мальчик и поворачивается ко мне спиной, будто я значу для него не больше, чем кормилица для ребенка, когда его отлучили от груди. Милый друг, я чувствую, что как мать не годилась никуда.

Корамбус издал укоризненный звук и позволил себе многозначительную улыбку-судорогу, которая наклонила его голову, а лоснящуюся нижнюю губу втянула в уголок рта.

— Ты винишь себя, хотя на твоём месте это никому бы и в голову не пришло. Воспитывает принца не только мать, все государство участвует в этом. Перенеся родовые муки, ты исполнила главный свой долг — Бог часто забирает в рай молодых матерей сразу же по его исполнению. Вскармливая младенца целый год, ты исполнила обязанность, которую многие знатные дамы, опасаясь за свою высокую грудь, передают невежественным крестьянским девушкам. Пока Амур учился ходить, лепетать первые слова, произносить длинные фразы, разбираться в буквах, а затем начал понимать смысл и орудий, и обычаев, и потребностей нашего мира, такое внимание к нему далеко превосходило принятое у особ королевской крови. Ребенка, рожденного быть представителем Бога на земле, нередко оставляют в куда более постыдном небрежении, чем отпрысков крепостного или проезжего разбойника с большой дороги. Ты с любовью заботилась о своем сыне. Не удручай себя подобными мыслями, моя добрая государыня. Амлету тринадцать лет, и он уже вполне сложился для добра или зла. Изъяны, пугающие тебя, я объяснил бы склонностью к актерскому ремеслу. Ему необходимо испробовать много разных личин, стремительно сменяя их одну за другой. Быть искренним, затем неискренним, затем искренним в своей неискренности — такие перемены его завораживают. Каким чудесным представляется его ищущему уму эта человеческая способность быть сразу многими, играть много ролей, подкреплять свою самохвальную, ничтожную личность множеством полупродуманных ложных выпадов и обманов. Я уверен, ты замечала его энтузиазм и упоение, когда в Эльсиноре появляются бродячие актеры, как жадно он следит за их

репетициями, подмечает тонкости их игры, а в уединении наших залов и переходов подражает звучным раскатам их декламации.

— Да, — оживленно перебила королева, — я часто слышу, как он у себя в солярии ораторствует наедине с собой!

Корамбус продолжал следовать своему ходу мыслей.

— Иногда мне кажется, что Церковь совершила ошибку, ослабив в нынешние распушенные времена свое осуждение кощунственных театральные представлений, которые, передразнивая Сотворение, отвлекают людей не только от совсем не важных, но и от очень важных вещей. И вспомни, как мальчик льнул к покойному Йорику, пока этот неумный шут, ослабевший от веселого распутства, не присоединился к подавляющему большинству рода людского в самой последней, самой лучшей шутке, которую сыграют с каждым из нас. Твой сын любил его, го— сударыня, и любит всех потешников и острословцев за то, что они освобождают его от тяжелых мыслей о царствовании и самодисциплине. Возможно, твой супруг подает мальчику слишком суровый пример. Но не сомневаюсь, когда Амлету ясно укажут на его долг, он, прикинув в уме, как от него уклониться, тем не менее исполнит все требуемое.

— Дай-то Бог, — сказала Герута, не вполне убежденная и вынужденная защищать мужа. — Король вовсе не хочет быть строгим, но у него хватает забот с угрозами со стороны необузданной Норвегии, бурлящей Польши, мятежного Голстена, не говоря уж о крестьянах и духовенстве, вечно недовольных тем, во что им обходится правительство.

— У величия есть та оборотная сторона, — тактично заметил Корамбус, — что всякий, кто менее велик, завидует ему.

— Честно говоря, король более мягок с мальчиком, чем я. Чем больше они сравниваются в росте и сходятся в интересах, тем ласковее Горвендил говорит об Амлете. Это я в беспомощности моего пола волнуюсь и тревожусь.

Корамбус некоторое время сидел выпрямившись, располагая на толстых коленях широкие складчатые рукава своего упелянда, а затем наклонился к королеве чуть ближе и заговорил, слегка понизив голос:

— Вот-вот! И расстроено не здоровье Амлета с его прихотливыми фантазиями и внешней неуклюжестью, неотъемлемыми от возмужания, но его матери, посмею ли я сказать. Девочкой, Герута, ты была сияющей, безмятежной и согревала все сердца. Как женщина нынче, тридцати лет...

— В октябре уже на год старше тридцати. Возраст Амлета, если переставить цифры.

— ...ты по-прежнему сияешь, только где-то в глубине безутешна. Однако ничто видимое не темнит твоего положения, наиболее высокого, какое женщине дано достигнуть в Дании.

— Слишком уж высокое и слишком величественное, если у меня не хватает духа занять его сполна. В молодости мои надежды были устремлены на то, чтобы у Амлета были братья и сестры — много-много их, чтобы Эльсинор заполнился веселым шумом.

— Да, дети — поистине утешение. Их нужды вытесняют наши, и в заботах о них мы обретаем оправдание своего бытия. В каком-то смысле мы прячемся за ними: наша грядущая смерть теряется в круговороте семейных хлопот. Мой Лаэртес, который лишь немногим старше твоего неугомонного сына, уже видит себя защитником своего отца, как и маленькой, едва вставшей на ноги сестрички, которая

осталась без матери, увы...

Герута потянулась и погладила пухлую руку вдовца, когда она возвратилась на подлокотник его кресла, утерев глаза складками широкого рукава.

— Магрит счастлива на Небесах, — утешила она его. — Этот мир был тягостным испытанием для ее прекрасного духа.

Мир, подумала она, и чередой выкидышей между рождением сына и дочери, которых она благополучно произвела на свет. Герута чувствовала, что эта прекрасная духом жена была превращена в бесплотную тень ненасытностью козлиной похоти Корамбуса. Советник со скрипом в голосе обратился к неясным сетованиям его королевы:

— Бездетность обрекает женщину на безделке, — изрек он, — особенно если ее муж управляет королевством на разбросанных островах, чьи берега на мили и мили открыты для вражеских вторжений.

— Мой муж... — Герута запнулась, но ее томила горькая обида, и она чувствовала, что такие слова ублажат ее лукавого собеседника. — Он все, что мне обещал отец, но... — она снова запнулась, прежде чем дать волю своей слабости, — ...не я его выбрала. Да и он выбрал меня только как часть своей личной политики. Он лелеет меня, но лишь как одну из своих многочисленных государственных обязанностей без риска для остальных или самого себя.

Она подводила внимательного придворного слишком близко к государственной измене, и Корамбус укрылся в жесткой скорлупе.

— Но зачем желать риска? — Он снова наклонился поближе, поблескивая нижней губой. — Ты читаешь слишком много безнравственных галльских романов, которые провозглашают бездеятельное бесплодное обожание главной целью жизни. Если мне будет дозволено говорить с прямою отцом, тебе следовало бы поменьше читать и вышивать, а побольше упражнять свое тело. Ездить верхом, охотиться, как в девушках. Твое величество отяжелело. Стремительная кровь Рерика застаивается в тебе и склоняет равновесие твоего духа в сторону меланхолии.

Она засмеялась, отмахиваясь от его дерзости, в которой слышала голос ревнивой привязанности:

— Вот уж не думала, мой дородный старый друг, услышать, как ты выговариваешь мне за потяжеление!

— Это был просто оборот речи... отяжеление духа.

— Ну конечно. Добрый Корамбус, мне стало много легче, что ты выслушал некоторые мои праздные мысли. Высказать их вслух было достаточно, чтобы убедиться в их легковесности и беспричинности. Сдернув с головы коническую зеленую шляпу, камерарий отклонялся в вихре рукавов, довольный тем, что предложил настолько спасительный совет, насколько это было в его силах. Если он досадил ей, так ведь она первая досадила ему, попросив, чтобы он серьезно выслушивал всякие женские измышления. Тем не менее было приятно услышать, что в укладе короля имеется трещинка, закваска недовольства у самого трона. Он с поклонами удалился, оставив Геруту течению ее дней.

О эти дни! Дни во всей их почти незамечаемой красоте и разнообразии, дни стремительного солнца и теней, будто пятен зверя, опьяненного радостью; дни упорной крепкой стужи и кроваво-красных

сумерек; золотисто-бурые осенние дни, пахнувшие сеном и гроздьями хмеля; весенние дни с соленым привкусом пенных волн и дыма очагов, прижимаемого к земле ветром, гуляющим над трубами; туманные дни рассеянного солнечного света и ласкового прерывистого дождя, который посверкивал и мурлыкал на подоконниках, будто серебряный кот; дни пышных высоких облаков, которые несли гром на восток от Ютландии; дни, когда береговая линия Сконе лежала яркой лиловой оборкой за волнующейся широтой Зунда; дни высокого ребристого неба, будто ангельский скелет; декабрьские дни воющего горизонтального снега, мартовские дни града с севера, будто гневного стука в дверь, июньские дни, когда зелень заслоняла все просторы, дни без качеств, дни с дырой посередине, дни, не знавшие, чего им надо, и завершавшиеся бессонницей; дни путешествий, дни церемоний, когда она и Горвендил сидели неподвижно, будто фигуры, выкованные из меди или, наоборот, сверходушевленные, будто актеры танцевали сквозь завесу света свечей и заросли яств; дни стирки, когда среди смеха и щелока она рабски трудилась вместе с краснорукими девушками в плену Эльсинора; дни болезни, когда она плавала в волнах лихорадочного жара, а одни тихоголосые посетители сменяли других, и одним из них могла оказаться безликая Смерть, явившаяся забрать ее к Рерику и Марлгар и Онне — Онне, которая умерла, когда была моложе, чем она теперь; и дни тихого выздоровления, дни, когда буки были все в длинных красных сережках, а ивы — в желтых; дни, когда служанка разродилась мертвым ребенком; дни, когда Горвендил отсутствовал; дни, когда она и он накануне ночью занимались любовью; дни, когда она объедалась; дни, когда она постилась до головокружения; дни, в начале которых Зунд лежал под жемчужным рассветом неподвижно блестящий, как озеро ртути; дни, когда ветер срывал пену с бешеных волн, будто вспышки белого огня; дни месячных, дни святых — дни проходили, и Герута чувствовала, что они по кусочкам крадут ее жизнь, все это время, пока она предается той деятельности и занятиям, которые приличествуют скандинавской королеве, супруге красивого, белокурого короля, который с годами становился все более достойным восхищения и недоступным, словно увеличиваясь по мере того, как отдалялся от нее.

— Молот, — сказал ей Фенг. — Я прозвал его Молотом. Тупой, но бьет тебя точно по голове, как по шляпке гвоздя. И Герута именно так чувствовала себя в те дни, когда накануне ночью они с королем занимались любовью — вбитой в довольно блаженную покорность, пригвожденной, отброшенной. Фенг, брат Горвендила, вернулся с юга, где напоследок отдал свои меч и копье, а также свой бойкий язык на службу правителям Генуи в ее долгой распре с Пизой за власть над Корсикой и Сардинией. — Средиземное море, — объяснял Фенг Геруте, — такое теплое, что в нем можно плавать удовольствия ради, если только прозрачные колоколообразные твари не обстрекают тебя до смерти. По другую сторону лежит Африка, где неверные мусульмане придумывают все более утонченные пытки и всякие мерзости, а на востоке лежит империя странных восточных христиан, которые посылают армии оспаривать присутствие или отсутствие «йоты» в греческом богословском термине, а своим священникам позволяют жениться и

отрачивать бороды. Мне бы хотелось побывать и там. Их знать предпочитает дубине и тяжелому мечу отсталых северных стран острый кинжал, и они там очень преуспели в искусстве отравлений. Вместе с возвращающимися крестоносцами и их пленниками, большими богатствами и изобретательной мыслью — в Геную проникло и много тонких азиатских влияний. Тебе понравился бы край за Альпами, Герута. Холмистый, зеленый, и каждый город на вершине холма соперничает со всеми остальными, и для нас, странствующих воинов, всегда есть работа. В наших туманных болотах и болотных туманах не увидишь таких сказочных, сверкающих пейзажей. Деревни удивительным образом лепятся по скалам, склоны до самой вершины превращены в поля-террасы, а тамошние люди, более темнокожие, чем мы, отличаются мягкостью и смекалкой, они веселы по натуре, но усердны в ремеслах.

— Я помню, — сказала она, — овальное серебряное блюдо со странными хитрыми узорами по всему его широкому краю, то блюдо, которое ты прислал нам в подарок на свадьбу, когда сам приехать не смог.

— Я сожалел о своем отсутствии, но думал, что обо мне никто не вспомнит.

— Нет, я о тебе помнила, хотя мы и не встречались с тех пор, как я была еще маленькой девочкой, и ты иногда достаивал меня взглядом-другим. Я часто думала о том, каким ты тогда казался. Брат твоего мужа всегда интересен, давая увидеть его в ином облике — так сказать, переплавленным после нового броска костей.

— Такой уж была моя судьба, — сказал Фенг с некоторым раздражением, — всегда казаться уменьшенной копией моего брата. Потому-то я и отправился туда, где никто меня с ним не сравнивал. Его брак с дочерью короля Рерика давал, решил я, еще одну возможность провести неблагоприятное сравнение между его судьбой и моей. Этот мужчина говорит с завораживающей свободой, думала Герута, как бы бросает вызов ей и себе. Он произносил слова легко, с загадочными вариациями в быстроте; они то спотыкались друг о друга, то томно замирали на его губах, которые не были узкими и чинными, как губы Горвендила, не были жирными и скользкими, как нижняя губа Корамбуса, но алыми и красивого рисунка, симметричными, будто женские губы, но без женственности. Его губы не были вычеканены, как губы Горвендила, или размазаны, как губы Корамбуса, но словно вылеплены любящими искусными пальцами. Голос у него был более звучным (более мелодичным инструментом, покорствующим умелой руке), чем у ее мужа, а кожа смуглее от природы или от жизни на юге, она не знала. Он был дюйма на два ниже — ближе по росту к ней.

— Восемнадцать лет назад, если память мне не изменяет, — сказал он, — дипломатия императора Священной Римской империи направила меня в королевство Арагон, где лавочки за соборами торгуют товарами, противозаконно ввозимыми из Гранадского эмирата, изделиями, созданными фанатично терпеливыми руками неверных. Узор, который ты заметила, это письмена, читаемые в обратном направлении, чем наши, и, по-моему, утверждающие, что нет Бога, кроме Аллаха, а погонщик верблюдов по имени Магомет, его пророк.

Голос Фенга стал сухим и быстрым, но подлежащая насмешка затормаживала некоторые фразы, словно подставляя их под свет

иронии. Волосы у него были черные, коротко остриженные, жесткие пряди с проседью подчеркивали простоту прически. Над одним виском, где глянцеви́тая вмятина свидетельствовала о старой ране, волосы и вовсе побелели, создавая впечатление пестряди. Глаза у него не были голубыми и удлинёнными, как у Горвендила, а карими, чуть раскосыми, с поразительно густыми ресницами, напоминавшими круги черной краски, которыми актеры обводят глаза. Нос крючковатый с жадно раздувающимися ноздрями. Хотя он и был моложе Горвендила, но выглядел старше, более закаленным жизнью. Его замариновали в темном уксусе. Геруте нравились складки, которые жизнь под открытым небом и скитания оставили в его задубелой коже, и то, как его лицо износилось до сухих сухожилий и мышечного рельефа. Он источал жилистое жизнелюбие человека, который вырвался из всех оков. Она чувствовала, что этот мужчина способен небрежно лгать тем, кто его любит, обманывать их, — только это ее не оттолкнуло, но в ее мыслительных глазах придало его внутренней текстуре что-то от его внешней, в таких приятых прихотливых складках. С возрастом внешность Горвендила стала жертвой метаморфоз, угрожающих светловолосым тонкокожим мужчинам: кончик его маленького прямого носа стал розовым, верхние веки одрябли, а припухлость шеи, подбородка и щек недостаточно маскировалась клочковатой курчавой бородой, которую она уговорила его отпустить, когда еще была женой, пользующейся влиянием. Фенгу было сорок семь лет. После легендарной победы над Коллером Горвендил расширил и укрепил свои владения, стал королем, а Фенг отправился по лесным тропам и крошащимся римским дорогам мира на юг. Теперь он вернулся в Данию, чтобы обратить вспять, если удастся, захирение его заложенных ютландских земель, разграбляемых его соседями и его управляющими, пока моровые язвы и неурожаи истребляли его крестьян, и чтобы, прожив несколько месяцев в поместье, дарованном ему Рериком, занять положенное ему место при королевском дворе его брата. Его дружинники, главным образом чужеземные солдаты, их лошади и пажы подолгу гостили в Эльсиноре. Горвендил ворчал. Фенг оказался внушительным сотрапезником и пил, сколько душа требовала, хотя опьянение проявлялось только в некоторой медлительности движений. Под конец пира, как говорили, он пользовался служанками, однако это не возмущало Геруту так, как следовало бы. Рерик вел себя точно так же после смерти своей Онны. Фенг, как выяснилось, тоже когда-то на Оркнейских островах женился вскоре после свадьбы своего брата. Его жена, Лена, насколько поняла Герута, была тоненькой и стройной, как царица фей, а волосы у нее были такими тонкими, что их волну, ниспадавшую ей на спину, можно было собрать в обруч немногим шире обручального кольца. Говорили, что Фенг хранит одну прядь припиленной к нижней тунике над его сердцем, — Герда передавала своей госпоже все сплетни слуг, заметив ее интерес. Умерла Лена, говорили они, просто от своей неземной красоты и душевной прелести, не успев родить ребенка. Столько хороших женщин умирали совсем молодыми! Словно так уж были устроены эти чумные падшие времена. Герута невольно задумывалась, и не свидетельствует ли ее непреходящее здоровье об отсутствии добродетели, о каком-то скрытом заговоре с силами зла. Ей теперь было тридцать пять лет, и все, кроме нее самой, считали ее старухой. В ее обществе Фенг был безупречен и даже, казалось, избегал ее

прикосновений, когда она невольно протягивала руку смахнуть пушинку с его рукава или погладить его запястье в знак радостной благодарности за какой-нибудь особенно яркий или забавный рассказ, за какой-нибудь пустячок из того или иного уголка такой разнообразной, такой сказочной Европы. Она не привыкла, что может разговаривать с мужчиной, который готов ее слушать. Горвендил и Амлет уходили от нее на середине фразы, чтобы обменяться своими мужскими фактами и договориться о чем-то своем.

— Мой брат как будто тебе нравится, — сказал Горвендил в их высокой опочивальне, полной сквозняков. Его голос был бесцветным, жидким — назидательно поучающий стоик.

— Он рассказывает мне о странах, где я никогда не побываю, раз мне не дана свобода мужчин. В Венеции, рассказал он мне, дворцы строятся на древесных стволах, вбитых в морское дно, а улицы там — вода и люди ходят по мостам, похожим на маленькие лестницы, и пользуются лодками, как мы лошадьми и экипажами. В Кастилье дожди выпадают только весной, и тогда холмы алеют маками. Во Франции каждая деревня воздвигла церковь высотой с гору и посвященную Богородице.

— Такие сведения ты могла бы извлечь из своих романов. И Фенг, наверное, почерпнул их оттуда же. Мальчиком он причинял много горя моим отцу и матери, потому что был неисправимым лгуном. Мой брат принадлежит к тем людям, одаренным во многих отношениях и, разумеется, обаятельным, кто твердо верует, будто до всех жизненных наград можно добраться напрямиком, обойдясь без терпеливого труда и верности своему долгу. Он мой брат, соединенный со мной цепями крови, которые выковал Бог, и потому я должен его любить и принять его, но тебе незачем быть столь радушной. Принц заметил ваши беседы наедине, и он встревожен.

Пока они говорили, она помогала королю снять турнирные доспехи, расстегивая множество застежек и крючков, развязывая узлы ремней — разъединяя все то, что удерживало воедино и на положенном месте каждую полированную металлическую часть. Кольчуги, по мере того как мечи становились острее, а стрелы быстрее, сменялись латами; в панцире из гибко наложенных друг на друга пластин Горвендил походил на водяного, массивного, сверкающего чешуей. Когда она помогла ему снять каждый доспех, а затем развязала у него на спине кожаные и стеганные подкладки, он, постепенно утрачивая массивность, начинал казаться жалким, съежившимся, хотя за протекшие годы приобрел внушительный живот. Облаченная в ночную рубашку из некрашеной шерсти, Герута подала мужу его рубашку, и пока он возился, вдевая руки в рукава, обрушила свой ответ на его скрытую под тканью голову.

— Я удивляюсь, — отпарировала она, — что принц снизошел заметить, что и как я делаю. С самого младенчества он постоянно бежал меня, чтобы обнять тебя еще крепче. Его терзает половина, которую он получил от матери. Когда он в следующий раз пожалуется тебе на оскорбление своей чувствительности, тебе следовало бы заметить ему, что сам он мог бы выказывать своему дяде больше почтения, проводя с ним хоть сколько-нибудь времени. Вполне вероятно, что Фенгу докучает мое женское общество, но ведь у него нет выбора: вы с Амлетом умудряетесь постоянно находиться в других покоях Эльсинора или же вместе отправляетесь куда-нибудь под не слишком убедительными предложениями.

— Мальчику необходимо узнать все, что сопряжено со зрелостью и королевским саном, — сообщил ей Горвендил с тем подчеркнuto серьезным спокойствием, которое напускал на себя, когда хотел напомнить о своей власти. Официальный облик, который он выработал, ей представлялся томительно пустым. Даже в ночной рубашке человек был выпотрошен королевским саном. — Еще до истечения года Амлет покинет нас ради учения во владениях императора, где современное просвещение, опирающееся на вдохновленные Богом заветы отцов Церкви, достигает вершин, о которых древние и не помышляли.

— В Дании есть достаточно своих мудрых наставников. Не вижу, зачем нам обрекать на изгнание наше единственное дитя.

— «Единственное» не по моему желанию, Герута.

— И не по моему, мой повелитель.

— Я был бы рад целому выводку, который надежно обеспечил бы продолжение нашего королевского рода.

— Я никогда не отказывалась исполнять свой долг, хотя первые роды были зловеще трудными. Я готова была вновь вынести эту пытку для обеспечения династии.

— В этом назначение женской утробы, — возразил он. —

Мужской принцип лишь подсобное средство. Возможно, твое противодействие нашей ранней помолвке могло способствовать свертыванию твоих плодоносящих соков. В семени у них никогда недостатка не было.

Серо-зеленые глаза Геруты блеснули, как тополиные листья перед бурей.

— Возможно, семя сеялось с такой холодностью духа, что оно не согревало жаждущую почву, на которую падало.

Он переменялся в лице. Побледнел, потом покраснел и шагнул ближе, словно чтобы обнять ее — эта мохнатая стена была внезапно проломлена.

— Ах, Герута, — вырвалось у Горвендила, — я не был холоден. Я не холоден с тобой и сейчас, восемнадцать лет спустя после нашей брачной ночи.

— Ты заснул.

— Да, чтобы избавить тебя от напившегося олуха, чтобы подарить тебе меня утреннего, лучшего меня.

Было что-то архаично-древнее в его смирении, что-то, напомнившее ей старинные интонации Марлгар над ее колыбелью, и королева устыдилась своей вспышки.

— Прости меня, супруг. Я не могу даже вообразить, чтобы кто-то мог ублажать меня более достойно и любяще.

Однако она воображала такого, когда просыпалась рядом с его храпящей тушей или когда в разгар утра поднимала глаза от пергаментной страницы *Chanson de geste* [2] с описанием Сиды или Роланда, христианских героев в доспехах, которые облегали их худощавые фигуры, точно змеиная кожа, и ее взгляд приветствовал за окном с двумя колонками ее солярия Зунд цвета желчи и тусклую манящую полоску Скона.

Ноябрь, даже поздний ноябрь, когда деревья сбросили пожухлую листву, а утренние заморозки оставили от диких астр только побурелые стебли, вдруг неожиданно приносит свои теплые дни, и в

один такой день Фенг пригласил Геруту осмотреть его поместье. Король был в отъезде, и она согласилась. Их сопровождала свита, и королева сидела на коне боком, ибо простым людям не должно видеть ее с подсученными юбками. Конь под ней — молодой гнедой жеребец — был напряжен и нервен, его мышцы и сухожилия напряглись до степени, когда мозг в большом удлиненном черепе уже терял над ними власть. Герута ощущала себя внутри этого черепа и видела одновременно в двух направлениях, и два эти поля зрения оставались раздельными. Солнце золотило серые ветки, сжатые поля, через которые ехала их растянувшаяся кавалькада, отдавали согретому воздуху запахи коровьего навоза и гниющих паданцев, прелого сена и дымящегося торфа. Темные пятна рыбьими косяками заскользили по светящейся белизне неба — слепящей простыне, разрезанной на рассыпающиеся лоскутья, когда лошади скрылись со своими седоками в лесу из берез и сосен, а затем вынесли их на холмистую грядку, где на перекрестке двух дорог в заброшенной часовне Пресвятой Девы лежала груда гипсовых обломков, и некоторые из них были голубыми. Земля по обе стороны гряды разделялась на полосы разных оттенков в соответствии с тем, урожай чего был с них убран. Каждое скромное поле усердно обрабатывалось своим держателем, и углы были помечены коническими кучами камней.

Все это она видела и воспринимала одним глазом, а другим Герута видела себя: как в оранжевом плаще для верховой езды и многополосном зеленом блию, которое открывало только острые носы ее сапожек из лосиной кожи, она совершает эту редчайшую поездку под защитой брата своего мужа по полям, лесам, лугам, которые почти все были для нее лишь видом, открывавшимся ей из окон в толстых стенах замка, который прежде принадлежал ее отцу, а теперь принадлежит ее мужу.

Ее жизнь, какой она представлялась этому внутреннему глазу, была каменным коридором с большим числом окон, но без единой двери, позволяющей выйти наружу. Горвендил и Амлет были двойниками — владельцами и стражами туннеля, а его концом в тяжелых засовах была смерть. Смерть, конец природы и вход, утверждали служители Распятого Бога, в несравненно более прекрасный мир. Но как мог любой другой мир быть прекраснее этого? Его высвечивающего света, его неисчислимых предметов и далей, его шума жизни, движения? Крестьянские дети выстраивались вдоль дороги посмотреть на пестрый королевский кортеж. Обреченные сменить своих родителей в рабстве у этих узких полосок земли, принадлежащих другим людям, они на короткий миг обретали свободу по-детски глазеть и бесхитростно вопить приветствия. В пятнистом небе стая скворцов с криками нападала на коршуна со всех сторон, и одинокий хищник жалко увертывался и пищал.

Фенг приблизил своего коня, стройного вороного арабских кровей с невиданными здесь генуэзскими седлом и сбруей, к ее нервному гнедому.

— Мой брат хороший человек, — сказал он, словно маяча в ее внутреннем глазу. — Хороший. А прежде он был хорошим мальчиком. Все время испытывал свою смелость, уезжал в пустоши один на целые ночи, закалял свой воинский дух, нанося себе небольшие увечья, расспрашивая нашего отца о битвах и о том, как быть бесстрашным вождем. По-моему, иногда он совсем допекал старика. Горвендил был безбожным скотом и брался за что-либо, только выпив три кубка меда.

Самые великие свои подвиги он совершал в таком пьяном исступлении, что ему приходилось нанимать бардов, чтобы они поведали ему, что он, собственно, сделал. В теории он был христианином, но на деле понятия не имел, что это подразумевает, или кто такие евреи, или в чем заключался грех Евы. Его понятие о религии сводилось к кольцу из высоких камней и вырывании внутренностей у десятка военнопленных. Но он подчинился общему поветрию и допустил в Ютландию попов; замок прямо-таки закишел ими, и их поучения обрушились на нас с братом. Ни он, ни я не верили полностью тому, что они говорили, но все-таки уверовали настолько, чтобы быть triste [3].

— А ты triste? — спросила Герута, не столько из кокетства, заверила она себя, сколько из любопытства, возможно, одной из форм кокетства. Ей было любопытно узнать, почему Фенг так упорно покидал Данию.

— Нет — когда я вижу некую госпожу, — ответил он.

— Некую госпожу? — Сердце Геруты забилося сильнее от ревности. Значит, Фенг нашел преемницу пленительной Лене с Оркнейских островов. Горвендил не был бы способен на такое абстрактное преклонение. Все то, что он не мог прямо сразить, поиметь или перехитрить, для него не существовало.

— Она должна остаться безымянной.

— Ну конечно, — сказала Герута. — Это же входит в правила. Но знает ли она, эта некая госпожа, о твоём преклонении?

— И да, и нет, мне кажется. К тому же, — он подчеркнуто переменял тему, — моя tristesse [4] отступает, когда я оказываюсь в городе, где никогда прежде не бывал. Но подобных городов у меня почти не осталось, если только я не посмею отправиться в такую даль, как Византия, или рискнуть переодетым проникнуть в ханство Золотой Орды.

Они уже въехали в поместье Горвендила, и теперь в конце дороги, окаймленной безлиственными тополями, она увидела господский дом, Одинсхейм, куда ее отвезли в ее брачную ночь и где она стала женщиной только в разгар утра. Кое-кто из свиты теперь покинул их, чтобы собрать сведения для короля об урожае и его законных долях. Остальные продолжили путь к господскому дому Фенга, Локисхейму, который Герута не раз видела издали, хотя внутри не бывала никогда. Фасад был таким же широким, как у Одинсхейма, но ниже на этаж и сложен из бревен на кирпичном фундаменте, а не из более дорогого желтого кирпича — большой редкости. Было слышно, как внутри зашевелились слуги, будто мыши, учуявшие запах кошки. Но они слишком долго ждали, чтобы затопить очаг, и теперь холодные поленья брызгались и дымили. Внутренность дома говорила об определенном военном порядке, наведенном поверх провалов запустения. На стенах и в открытых шкафах красовались памятки о перемещениях Фенга по Европе: кривой меч с рукоятью, сверкающей драгоценными камнями; аппарат из медных сфер внутри сфер с внутренним шаром, покрытым магическими узорами звезд; две длинные алебарды были скрещены над деревянным ларцом, покрытым грубой резьбой, с веревочными ручками и железными защелками в форме прыгающего лося.

— Бургундская алебарда и копье баварской выделки, — с нервной отрывистостью объяснил Фенг, заметив, что ее взгляд устремлен на прихотливые изгибы алебарды и ее смертоносного острия. —

Баварские немцы переняли хитрости оружейников Северной Италии. А эти удивительные стулья — из Венеции. — Он поднял один и сложил, будто ножницы для стрижки овец, а затем открыл. — Они складываются, планки входят одна в другую, будто нити на ткацком станке. В чужих землях много всяких хитроумностей и все меньше и меньше упований на Бога. Мы, датчане, отсталый народ. Холод сохраняет нас свежими, но глупыми.

Он поставил открытый стул, формой напоминавший "X", возле медленно разгорающегося огня и положил для нее на сиденье подушку из зеленого бархата. Она села, а он придвинул второй венецианский стул настолько близко, что ему не требовалось повышать голос в шуме, поднятом слугами, которые вносили тарелки и чаши, ножи и ложки, а также подносы, нагруженные их полуденной снедью.

— Его добродетельность душила меня. — Фенг вернулся к их прежнему разговору. — Она была словно подушка, которую он прижимал к моему лицу. Он был одни ответы без единого вопроса.

— Когда-то я назвала его неутонченным, — в свою очередь призналась Герута, — и донельзя разгневала моего отца.

— Утонченность в Дании пока еще не в моде, — сказал Фенг, — но в Европе за ней будущее. Тысячу лет все мы были Божьими крестьянами, копали и пахали в поте лица под тучами, ниже которых не бывает. В Риме, чей маленький хлопотун-епископ называет себя пастырем даже тупых ютландских овец, я видел, как мраморная рука, поразительная в своем сходстве с живой рукой, появилась из земли там, где люди крали тесаные камни для своих лачуг. В Париже ученые монахи влюбились в мысли древнего мага по имени Аристотель. Один из этих схоластов заверил меня, что Бога и Его Небесные Тайны больше не надо принимать на веру, все их можно доказать с той же точностью, как законы треугольников.

Словно нервничая, он говорил излишне быстро и лишь искоса поглядывал на нее.

— Боюсь, — по размышлении осмелилась сказать Герута, — это отменяет наш бедный род людской. Богу следовало бы прислать нам не Своего Сына, а теорему.

Такое почти богохульство притянуло к ней взгляд расширившихся глаз Фенга. Они были восхитительно более темными, чем у Горвендила: коричневатость взрыхленной земли со стебельками травы в ней, остатки сотворения, которое, подобно сотворению Евы, было вторичным.

— Скажи мне, Герута, во что ты веришь? Мне кажется, твой отец был обращенным не более, чем мой. Они любили и убивали с невинностью зверей.

— Они жили согласно тому, чего требовали их выживание и удовольствия в нуждах каждого нового дня. Я верю в то, — ответила она, — во что поставленные надо мной мужчины велют мне верить. Вне их кредо общество не предлагает женщине никакой безопасности. А ты, мой брат, во что веришь ты?

Но он не был ее братом и ответил так стремительно, что она заморгала.

— Я верю, что люди могут быть прокляты, — сказал он, — и не так уж уверен, что они могут быть спасены. После трапезы, благородная Герута, я должен показать тебе что-то — красоту, которая отдает наши мысли о добре и зле на милость реальности.

Еда была простой, а потому и более вкусной — копченое мясо

было в меру солоноватым, а осенние плоды крепкими и сочными. Для начала обществу, чтобы согреться после двухчасовой прогулки верхом, подали деревянные миски с похлебкой, пахнувшей капустой и крольчатинной (ее томили на огне день и ночь в чугунном котле, весящем больше взрослого мужчины). Затем подали куски ветчины, вымоченной в рассоле, куски гусятины, хранившиеся в меду, соленую селедку и треску, нарезанные полосками, чтобы их можно было брать изящно, и маленькие сухие пряные колбаски, которые крестьяне называют непристойным словом. Спаржа, сначала сваренная, потом высушенная с артишоками и листьями подорожника, вымоченными в вине для съедобности, приводила на память летнее изобилие овощей. На десерт, как гвоздь трапезы, их обнесли блюдом с финиками и чищенным миндалем — заморские сласти во вкусе Фенга. Компания людей и разгоревшийся огонь согрели низкую залу, и воздух под почернелыми досками потолка стал душным.

Королева с сопровождавшими ее женщинами кушала на нижнем конце длинного стола, дабы их уши, хотя и в безопасности уютных чепцов, не осквернялись бы шутками мужчин, когда чаши с медом и хмельным пивом развязали их языки. Фенг словно был настолько увлечен все более громогласной и веселой мужской беседой, что ни разу не посмотрел в ее сторону, однако он подошел к ее концу стола, все еще догрызая свой десерт — красное яблоко в рыжих полосках. Зубы у него были неровными, но крепкими на вид и все целы: ему не приходилось терпеть сокрушающую боль и выдергивания, оставившие дыры в чинном рту Горвендила, который теперь был склонен улыбаться даже меньше, чем прежде.

Фенг вывел Геруту из дома, провел через двор, где замерзшие рытвины поблескивали от полуденной оттепели, и повернул к длинному, крытому соломой строению, в котором по доносившимся оттуда клетку и шелесту крыльев она угадала соколятню. Пока они шли через двор, грачи на развесистых дубах закаркали хором в какофонии возмущения и тревоги. Гам их был настолько оглушительным, что Геруте почудилось, будто ее уши высвободились из-под чепца.

В соколятню вела только одна дверь, войти в которую можно было лишь пригнувшись. Фенгу, хотя он был ниже Горвендила, пришлось наклонить голову. За порогом пол из песка и гальки зашуршал, чуть пересыпаясь под неуверенными шагами королевы. Мрак внутри заставил ее остановиться. В ноздри ей ударила вонь тухлого мяса и пахучего помета крылатых хищников.

— Глазам надо попривыкнуть, — сказал Фенг рядом с ней. Сказал тихо, словно не желая разорвать паутину приглушенных звуков вокруг — шорох крепких, как латы, перьев, царапанье смертоносных когтей о жердочку, нежное позвякивание бубенчиков и голоса самих птиц — ропот придушенного плача, как земля от неба далекий от пронзительного крика хищника в вышине, когда он медленными кругами набирает высоту, чтобы камнем упасть на добычу.

Полумрак посветлел. Из темноты выступили детали: клетки, сплетенные из крепчайших ивовых прутьев, выбеленные пометом жердочки, запасные пути, висящие на стенах, призрачно белеющие колпачки с перьями, парализующие птиц искусственной слепотой. Соколиная охота всегда казалась Геруте жестокой забавой — насилием над вольной дикостью, извращением, делающим из сгустка свободной природы орудие человеческой забавы. Она прониклась этим

отвращением, еще когда отец впервые показал ей Эльсинорскую соколятню, здание величественное, как церковь, где забранные решетки окна позволяли пленникам летать взад и вперед в высоком пространстве, расчерченном прутьями в солнечном свете.

В этой тесной убогой соколятне она почувствовала бедность Фенга, как должен был чувствовать ее он, сравнивая свою соколятню с соколятней короля. Теперь, когда ее глаза видели ясно, среди обломков пустых клеток она насчитала всего четверых живых обитателей.

Неудивительно, что столько хитрых кожаных приспособлений для этой охоты свисало с затянутых паутиной колышков. Ненужные, не смазанные жиром.

— Мое отсутствие лишило меня многих прислужников, — сказал Фенг. — Полдюжина птиц и два сокольничих, дряхлый старик и его хромой внук. Ты что-нибудь знаешь об этой охоте?

— Мой отец показывал мне ее полдюжина раз, а мой муж и того меньше. По-моему, Горвендил не привержен этой забаве, хотя королевская соколятня содержится прекрасно, чтобы показывать важным гостям все великолепие этой охоты. Есть мужчины, насколько я знаю, для которых она — что-то вроде религии. И как в подлинной религии женщин, не рукополагают в священнослужители.

— А ведь только самку можно называть соколом по праву. Самец на треть меньше, огня же и ярости ему и наполовину недостает. Вот соколич, пойманный сетью несколько дней назад, а теперь обламываемый, как это называют. Соколич находится между птенцом, которого забирают из гнезда еще неоперившимся, и летуном, взрослой птицей, пойманной, так сказать, в полете. Прости такой педантизм, как тебе могло показаться, но это своего рода наука со своей системой названий.

— Я их слышала, — сказала Герута.

— Эту гордую юную красавицу мы называли Вирсавией.

В тусклом свете единственного окошечка в дальнем конце соколятни Герута постаралась рассмотреть. Птица, будто свернутый пергамент, была засунута в вязаный носок. Голова торчала из одного конца, а из другого желтые лапы, уже в путах. Маленькая головка завершалась черной шапочкой, а белые стороны были исчерчены полосками, тянувшимися от глаз, будто чернильные струйки. Герута пошире открыла глаза, чтобы лучше ее разглядеть, и ахнула от ужаса. Веки Вирсавии были сшиты вместе ровными плоскими стежками.

— Глаза, — сказал Фенг, услышав ее судорожный вздох (ее лицо в белом обрамлении чепца было от него отвернуто), — запечатаны, как это называется. Ради ее собственного блага. Иначе она начнет отчаянно биться, пытаясь вырваться на свободу. Когти ее подравнены, а лапы спутаны ремешками с бубенчиками, так что сокольничий слышит каждое ее движение. У нее сложный характер, очень чуткий, легко возбудимый. Чтобы она стала помощницей человека, ее необходимо держать в неподвижности, точно запеленатого младенца или короля, прикованного к трону с начала и до конца какого-нибудь священного обряда либо церемонии. В ее сердце — весь воздушный простор, и мы стремимся, так сказать, слить ее через воронку в надлежащий сосуд. Ее кормят, Геруту, кормят более легким мясом, чем то, которое она добывала бы на воле. Слепота для нее милосердие, убаюкивающая безопасность. Разве ты никогда не видела, как мальчик, пасущий гусей, чтобы поймать гуся, набрасывает на него одеяло и птица сразу замирает, будто погрузилась в сон? — Его голос

убаюкивал ее слух, щекоча приятной зазубренностью.

— Вот так мужчины подчиняют женщин своими сокрушающими клятвами, — сказала она. — А ее глаза будут когда-нибудь распечатаны?

— Как только сокольник сочтет, что она готова для колпачка. А пока он приучает ее к человеческому голосу, к нашим прикосновениям и запаху, которые слишком сильны для обостренных чувств сокола. Успокаивая ее, он прыщет на нее водой из собственного рта, снова и снова поет ей одну и ту же песню. Ночь за ночью он бодрствует, чтобы она бодрствовала с ним, пока не сдастся и не признает его перчатку своим естественным местом отдыха. Эти дивные существа не похожи на собак и свиней, их владения нигде не соприкасаются с нашими, если только мы с великим терпением не выкуем звенья и не притянем их к нам.

— Бедняжка Вирсавия. Мне бы хотелось, чтобы она могла понять все твои чарующие объяснения ее страданий. Взгляни! Под жердочкой лежат сброшенные ею перья. Она окажется совсем нагой — такой, какой была, когда царь Давид подглядывал за нею с крыши. Она протянула ему коричневое перышко с кончиком, будто окунутым в сливки. Он благоговейно взял его с ее розовой ладони и засунул за пояс.

— А теперь, — сказал он, — познакомься с Иохаведой, библейской матерью Мариам, матерью Моисея. Она кричит из области вечных снегов и льда. Со сменой времен года она линяет, становясь из белой коричневой, а из коричневой снова белой. Кричители, — продолжал он, а его любовная неловкость искала убежища в деловитости наставника, — крупнее сапсанов. Вирсавия — сапсан. Иохаведу приучили бить журавлей на болотах, но, боюсь, она так же утратила сноровку, как и ее хозяин. Если соколиху не тренировать все время, она возвращается в свое дикое состояние и бьется в путах, переворачиваясь в ярости. Отвергает жердочку и не желает есть даже такое лакомство, как еще дымящаяся печень кролика.

Говоря все это, он натягивал на руку кожаную перчатку, которая доставала почти до локтя. Ласково прищелкивая языком, взъерошивая перышки на белой шее Иохаведы, Фенг понудил укрытую колпачком птицу перебраться вместе с путами на его запястье. Ласково нашептывая ей, он вышел с птицей во двор, туда, где единственное оконце соколятни выходило на огромный, уходящий вниз луг. Его травы белели под ветром, под скользящими тенями осенних туч, которые успели хмуро сгуститься с тех пор, как завершилась утренняя поездка под пятнистым белым небом.

— А вот и сам сокольник, — сказал Фенг. Это был старик по имени Торд, морщинистый, согбенный временем, но широкий в груди, будто бы для того, чтобы было на чем держаться крыльям. Он сдернул войлочный колпак, приветствуя своего господина, свою королеву и кричателя, будто членов одной августейшей семьи. Он и его внук Лют были заняты, объяснил Фенг, разминкой третьей соколихи, чернорыжей пустельги по кличке Иезавель, пуская ее на полевых мышей, которых они ловили и калечили, перекручивая и ломая одну лапку, чтобы те бегали не так быстро. Они показали Геруте, как это делается, чтобы развлечь ее. Лют, щуплый хромой мальчуган с белыми ресницами и молочным взглядом, осторожно вытащил из мешка и выпустил дрожащее бурое тельце, и оно отчаянно кинулось, подпрыгивая и выписывая зигзаги из-за хромоты, под защиту высокой

травы. В тот миг, когда мышь уже почти скрылась, Торд выпустил птицу, которая темным вихрем взвилась, кинулась вниз, мгновенно прикончила несчастную зверушку и, разжав когти, уронила ее на землю.

— Пустельги не ныряют с высоты, — объяснил ей Фенг. — Они скользят и хватают исподтишка.

— И как будто слишком сыты, чтобы съесть убитую добычу, — сказала Герута, настолько привыкшая к Фенгу, что осмелилась на легкое порицание.

— Ее она оставляет для своего хозяина. Она приучена есть только то, что получает из человеческих рук. А теперь разреши показать тебе, как Иохаведа охотится на журавлей.

Приманка была сооружена из двух журавлиных крыльев, скрепленных сыромятным ремнем. Мальчик принес это неуклюжее приспособление из сараюшки рядом с соколятней и отошел на некоторое расстояние по скошенной полосе. Торд, отчески издавая горловой клекот, посадил кречета на свой кулак в рукавице, быстрым движением другой руки привязал ремешок к кольцам на конце пут и той же рукой сдернул колпачок за алую кисточку.

Глаз соколихи! Он был больше, чем могла вообразить Герута, чернее и блестящее — жемчужина чистейшей ночи. Во всяком случае, так ей показалось, пока кречет не повернул голову под углом к солнечным лучам и под прозрачной роговицей не открылся многолепестковый цветок из золота и рыжины. Плоская поблескивающая головка Иохаведы была одета такими мелкими и так плотно прилегающими друг к другу перышками, что выглядела лысой, а белоснежные перья ее шеи были приперчены мелкими крапинками. Голова с кривым клювом дрожала и подергивалась, пока глаз вбирал их, высматривая среди сгрудившихся лиц какую-нибудь добычу. Когда глаз словно впился в глаз Геруте, королева почувствовала, как у нее перехватило дыхание. Вот и смерть не упустит ее из виду, что бы ни мнилось ей в девичестве, когда мир был одним бесконечным утром.

— Отвернитесь, госпожа, — умоляюще сказал вполголоса старый сокольничий. — Незнакомое человеческое лицо для них отравя, пока они не до конца свыкнутся с людьми.

Герута вздрогнула, уязвленная этим предупреждением: ведь, сказать правду, она с младенчества привыкла, что ею восхищаются. Она покосилась на Фенга, но он был занят мыслями о соколиной охоте, и его темный взгляд неумолимостью не уступал взгляду Иохаведы.

Прихрамывая, насвистывая, Льот раскрутил приманку так, что она заколыхалась в воздухе. Было трогательно наблюдать, как он бежит — так колченого и увлеченно, — и белые вспышки его лица, потому что он все время оглядывался. Он приспособил неуклюже хлопающую приманку у границы высокой травы примерно на половине полета стрелы и скорчился, исчезнув из виду. Сразу же оттуда донесся слабый, влажный, навязчивый посвист. Фенг шепнул на ухо Геруте, что манок сделали из высушенного горла журавля. Торд выпустил кречета, она взмыла в воздух, увлекая за собой креанс — тоненький поводок, скрепленный с ремешком. Торд в возбуждении, продолжая клекотать, вытраивал поводок вслед птице. Герута слышала, как он шуршит в траве. Иохаведа, топыря лапы, ринулась на подделку под журавля. Льот выпрыгнул из своего тайничка, держа наготове поощрительную награду — мохнатую ногу только что убитого

кролика. Пока соколиха клевала ее, мальчик собрал путы в кулак и туго их затянул. Соколиха воссоединилась со старым Тордом, и тот тугим пером поглаживал жесткие ноги, обтянутые сухой кожей, и кривой клюв с налипшими на нем клочками окровавленной кроличьей шерсти. Фенг объяснял на ухо Геруте, как малопомалу они перестанут использовать креанс, а к добываемой дичи добавятся бекасы и куропатки. На лугу для обучения сокола будут посажены живые птицы со сломанными крыльями и запечатанными глазами. Вот так, терпеливо, шаг за шагом природный убийца будет превращен в помощника людей. «Какое жестокое и мальчишеское занятие, — думала Герута, — какая громоздкая задача». И одновременно восхищалась скрытой в этом отточенной страстью, особому умению, передающемуся из поколения в поколение, будто коса с на диво наостренным лезвием. Мужчинам необходимо играть со смертью, чтобы сделать ее не такой ужасной, когда она придет. Фенг снял перчатку, на которой вынес Иохаведу из соколятни, и предложил Геруте засунуть в нее руку. В этом словно скрывалась опасность — проникнуть своей рукой туда, где еще никогда не бывала рука женщины. Перчатка была слишком широкой и очень теплой внутри — согрета кожей Фенга. Следуя его указаниям, она посадила Иохаведу себе на запястье. Птица оказалась легче, чем выглядела, — одни только полые кости и жадный голод. Легче котенка или корзинки с разноцветными нитками у нее на локте. Кожа потрескивала под загнутыми вовнутрь когтями, когда они вновь и вновь впивались в стеганую прокладку потрепанной перчатки. Смертоносные лапы Иохаведы прочно закрепились, но ее голова продолжала беспокойно поворачиваться, блестящее черное полушарие глаза в глазнице искало наилучшей настройки, наиболее точного угла, под которым осмотреть лицо Геруты. Торд внезапно надел колпачок на любопытную голову и пересадил Иохаведу с перчатки Геруты на свою.

— Ты уж прости, — сказал он, не глядя ей в глаза. — Да только человеческий взгляд их пугает. Мы выводим их из темноты полегоньку, помаленьку.

Она поняла, что его отношения с этими птицами главенствуют над почтением, которым он был обязан своей королеве.

Фенг спросил ее:

— Как тебе это ощущение — убийство у тебя на запястье?

Солнечные лучи загораживались, тучи над головой распухли, стали еще темнее, громоздясь друг на друга, точно льдины с подветренной стороны Скау. Короткий ноябрьский день быстро сбрасывал свое несвоевременное тепло.

— Мы обе женщины, она и я, — отозвалась Герута. — Мы должны брать, что можем, из того, что предлагает мир. Несомненно, она ела бы зелень, если бы природа не сделала ее рабыней кровавого мяса. Нам не следует судить ее по правилам, которые мы создаем для овец.

Фенг засмеялся, показав неровные, но такие зазывные зубы в алом рту между подстриженными усами и заостренной итальянской бородкой.

— Мне бы хотелось оставить тебе в подарок соколиху. Не Иохаведу, она ведь тебе почти сестра, но, может быть, изящную Вирсавию, когда ее глаза будут распечатаны.

— Оставить?

— Да. Мне пора уехать. Дания все еще не гнездовье для меня.

Мои генуэзские начальники дали мне отпуск для приведения в порядок личных дел, а эти дела уже распутаны и налажены. Никто, кроме моих соколов, не будет удручен моим отъездом: у моего брата есть Дания. Дания и подательница престола во мнении народном. Страна любит тебя, Герута, вплоть до самого неприкаянного датчанина.

Он отвесил церемонный поклон на случай, если она не заметила, что он подразумевал себя.

Редкая для него прямолинейность! Ведь женщина, разумеется, знает, что происходит, о чем договариваются лишенные речи нижние части под покровом возвышенных манер.

— Неприкаянного, — повторила она, — но, надеюсь, верного.

Мой супруг король привык полагаться на твое присутствие при его дворе. Он ценит твои нынешние советы и гармонию вашего общего прошлого. Сыновьям Горвендила не след так часто разлучаться.

— Быть может, в разлуке они оба достигают большего. Волчата не могут делить одно логово всю жизнь. Расстояние несет в себе безопасность и чистоту, не подвергающую испытанию верность и братьев, и любящих.

— Кто говорит о любящих? — спросила Герута. — Мне будет не хватать друга и только что обретенного брата, брата-друга, любящего соколов.

— Мы принадлежим тем, кто нас укрощает, — сказал Фенг и, резко наклонив голову, словно в раздражении, сделал знак Торду, что им пора возвращаться. Торд освободил Иохаведу от ремешка с креансом и прикрепил к ее путам бубенчики, так чтобы ни единое ее движение днем ли, ночью ли не оставалось незамеченным, чтобы ее укротитель сразу же являлся на этот звон. Глаза старика, показалось Геруте, были погребены, чуть поблескивая в складках его выдубленного лица, в течение многих лет подавляемые благоговением перед надменным, непомерным соколиным взглядом. Ее сердце сжалось от жалости к мальчику, Люту, обреченному стать старым и согбенным, морщинистым и задубелым на службе племени неблагодарных хищников.

«Господи Иисусе, — думал Фенг, — любовь к ней пожирает меня живо!» Страсть к Геруте грызла его по ночам, образ ее вспыхивал в глубине его мозга, пока он ворочался и метался на своем тюфяке бродяги, — то, как она оборачивалась и как наклонялось ее лицо, когда она оборачивалась — оборачивалась на чей-то другой голос, не сознавая, что он следит за ней (или сознавая?). Ее распущенные волосы, туманная дымка, в ореоле собственных выбившихся прядей, чуть всколыхнутся, прекрасные рыжеватые волосы чужой жены, видеть которые неприлично, но он же был братом ее мужа, а потому мог входить в их покои утром, пока они утоляли ночной голод, — она в халате без пояса, недостаточно длинном, чтобы скрыть босоту ее ступней, их розовость, намекающую, что все ее тело еще хранит румянец томного жара снов, только-только прерванных, розовость по сторонам, белизна пальчиков, сгущающаяся на обнаженных пятках в оттенок свечного сала: все тело Геруты — гибкая свеча, несущая бледное неукротимое пламя ее волос.

Там и Горвендил, уже одетый для охоты вместе с тщеславным

щенком грубияном Амлетом или же в бархатном парадном наряде для приема какого-нибудь посла либо трясущегося казначея и совсем не замечающий сокровища женственности в скромном безмолвии рядом с ним; ее губы изящно принимают в объятия с острия чуть затупленного ножа кусочки жареного кабана или яичницы из перепелиных яиц на деревянном подносе, а ее муж, чтобы произвести впечатление на брата, напыщенно рассуждает о норвежцах, или поляках, или новгородцах, дающих о себе знать на каком-нибудь дурацком приграничном болоте или опасном морском пути, и голос его пухнет от королевской мудрости. Не привыкший к возражениям голос этот будет пустопорожне продолжать: «А купцы, купцы, Фенг, они же такие докучные ракальи! Процветают в безопасности, которую обеспечивает государство, пользуются нашими дорогами, нашими портами, нашими безопасными городами, а потому должны платить налоги, но они бесстыже прячут свои богатства, укрывая их там и тут, где никакой писец их не разыщет! В дни нашего отца, Фенг, богатство нельзя было укрыть, оно было на виду у всех: урожаи и земли, хижины вассалов и крепостных, пастбища и набитые зерном амбары — королевский сборщик налогов подводил им итог с одного взгляда, но нынче богатство пробирается тишком, оно невидимо просачивается из места в место в виде цифр, записанных в счетных книгах. Легко винить евреев, но, попомни мои слова, в этот прогнивший век не только евреи готовы охотно братья за такое грязное дело, как ростовщичество, смеяться над вечной погибелью, сводить дебет и кредит к фальшивому балансу, и так из города в город, из порта в порт, а узы верности, которые в дни нашего отца связывали крепостного с господином, господина с королем, а короля с Богом, уже, фигурально выражаясь, в счет не ставятся, и даже различие в языках, прежде отделявшее обитателей гор от обитателей долин, теперь растворилось в языке цифр — цифр, мой дорогой Фенг, выдуманных самим Отцом Зла в обличье магометан и привезенных возвратившимися крестоносцами, нередко вместе с губительным сифилисом, подцепленным у какой-нибудь смуглой шлюхи. Богатство купца, прокляни его Христос, скользко, как змея, и ничем себя не выдает, кроме как в дорогом убранстве его спальни да количестве серебра и золота, которое он навешивает на свою разжирелую супружницу!»

В разглагольствованьях Горвендила была — как и всегда прежде — бессвязная смачность, затаенная хвастливость, когда его язык не мог удержаться и не коснуться изнанки его духа — женщин, которым он раздвигал ноги по праву победителя, вот как с Селой, хотя Фенг упрашивал пощадить ее, сослать на остров или вернуть норвежцам за выкуп; но нет, Горвендilu обязательно надо было поиметь ее, пусть она царапалась и боролась, точно валькирия. И запятнанный, опозоривший себя многими легкими победами над красивыми и беспомощными, король продолжал самозабвенно бубнить, а жир мясных яств блестел в его бороде, а брюхом он мог бы потягаться с любым из купцов, которых примеривался ограбить. Мысль, что этот раскормленный боров в человеческом обличье имеет право с благословения Церкви осквернять Геруту всякий раз, едва в нем разыграет похоть, приводила Фенга в исступление, почти граничившее с жаждой убить. Ее покоряющая грация словно открывала перед ним сияющее окно в иной, более чистый мир. Когда он смотрел на нее, его душа трепетала от света, врывающегося внутрь. Она уходила от общего стола с завтраком к своему столику с овальным зеркалом возле

окна и начинала расчесывать щеткой волосы. Спина под мягким утренним халатом выгибалась, округлый розовый локоть выскользнул из широкого рукава в мерном движении вверх-вниз, вверх-вниз, светло-медные волосы потрескивали и топырились тысячей огненных кончиков. Рот Фенга пересыхал от такой близости к ее неприкасаемой плоти.

В том, что ее тело таит вожделение, она сама призналась в игровом разговоре с ним. Она небрежно прибегала к изысканным понятиям куртуазной любви, говоря о нижних частях, которым верхние всего лишь служат. Но он понимал, что она, с тем особым женским искусством прятать от себя собственные цели в переизбытке отчетливости, главным образом намеревалась взвихрить единение душ изнутри неприступной крепости ее положения царственной супруги и матери. Ей было тридцать пять, она достигла вершины своего зрелого расцвета. До тех пор пока она оставалась способна родить королю еще одного наследника, для любого другого датчанина возлечь с нею значило бы совершить неслыханную государственную измену и оскорбить Небеса. Королевская кровь была священна — кровь Бога на земле. И обожание Фенга включало самозащитный аскетизм, абстрактность. Он не рисовал в своем воображении ее нижние части или сладострастные позы открывающие женщину, подобно кобыле во время случки для совокупления. Смеющаяся игра ее губ и глаз, небрежная музыка ее ласкового голоса, взгляд-другой на ее босые ступни и розовую утреннюю томность были для него достаточной любовной пищей — на этой зыбкой стадии образы чего-то большего были бы ему омерзительны. Подобно соколам, любовь следует держать на грани голода. Мы любим, узнал он из поэзии Прованса, куда в своих скитаниях попадал не раз, не столько дар нам вручаемый, обрызганную луной наготу и облегающую влагу подчинения, сколько божественную милость вручения — последнее одеяние снято, и темно-откровенный прямой взгляд в спальне, приказ тебе дорого оценить этот дар, вырванный из сумерек Эдема.

Геруту он вряд ли мог оценить дороже. Он любил ее здравый смысл, ее всепрощающую веселость. Перейдя совсем юной от отца к мужу, угнетенная мужем, чьи достоинства пленили отца, она знала, что в ее жизни были какие-то пробелы, но не затаила обиды. Такой доброй она была, такой разумной, такой естественной дочерью Природы! «Природа» — это слово часто звучало в ее речи, и она пользовалась им, как женщины на других языках говорят: *der Gott, le bon Dieu, Iddio, Dios* [5]. Фенга чаровало, как, пока серо-зеленые глаза определяли точный вес всего, щедрые губы и крошечные мускулы вокруг них вели свою игру, будто в каждом слове крылась особая шутка и она не могла не смаковать ее. Когда она произносила его имя, то чуть растягивала «нг», почти как второй слог. И собственное ее имя в тех редких случаях, когда она сама его называла — [^]ЕДЬ нашими именами пользуются удобства ради другие люди, а для нас они существуют на самом краю сознания, для которого мы нечто слишком огромное и неясное, так что не укладываемся в имени, — смягчалось в нежное «Герута».

Каждый оттенок ее речи, мысли и движения казался ему совершенством, от которого захватывало дух. Даже маленькая щелка между двумя ее верхними зубами была само совершенство, нежданная прелесть, когда она улыбалась. *Sas belas dens* вспомнилась ему строка из стихотворения Бертраана де Борна. *Vuolh sas belas dens an dos*. Хочу

ее прекрасные зубы в подарок. Женщина, чтобы любовь вознесла ее на пьедестал, должна иметь изъян, слабость, и у Геруты, казалось ему, это была ее покладистость, покорное принятие того, что есть, благодаря чему ее отец, а затем муж распоряжались ею, как находили нужным. Ее любовь к природе породила в ней фатализм, склонность уступать. Она уступила бы и ему, если ее подтолкнуть. Он чувствовал это. И ей следовало принадлежать ему, потому что лишь он один видел ее настоящую. Королевская власть окончательно ослепила его брата, который и всегда был толстокожим, приверженцем широких, приблизительных, всего лишь полезных истин.

Всегда видеть Геруту рядом с собой значило бы для Фенга ежедневно купаться в сиянии, от которого теперь ему приходилось отворачивать глаза, хотя ее образ темным силуэтом раз и навсегда запечатлелся в глубине его мозга. Рядом с ней свинец в нем стал бы золотом, она очистила бы его сердце от ютландской тьмы, давно в него заползшей. И — мысль совершенно излишняя, но факт есть факт — она сделала бы его королем. Дания и Герута принадлежали бы ему одновременно. Такая величественная возможность маячила лишь в нескольких шагах от него, пока он стоял, томясь жаждой, среди придворных своего брата. Желание Фенга, когда оно обрушивалось на него сзади, было настолько сильным, что его колени грозили подогнуться, а в голове стучало от нетерпения.

И когда жажда бушевала в нем, его брат становился из ничтожного жалким, из ненавистного беспомощным. Горвендил понятия не имел, какой опасностью оборачивалось для него его неоценимое сокровище. Ему и в голову не приходила мысль — ну разве что как мимолетная шутка — о зависти, снедающей его влюбленного брата. Фенг должен был убрать свою опасную зависть подальше от владений этого тупоголового монарха — беззащитного в своем самодовольстве, ничего не подозревающего из-за своих понятий о взаимоотношениях братьев. Призрак их отца Горвендила следил за происходящим. Обрывок совести связал руки брата-злодея. Фенг опять отправился на юг, вновь служить правителям Генуи, номинальным вассалам императора, а затем — уже на их службе — еще дальше на юг, а потом на восток, как посланец к союзнику Генуи, престолу Византии из порфира и слоновой кости.

В знак прощания он приказал Торду доставить Вирсавию, чьи глаза были распечатаны, королеве в Эльсинор. На протяжении десятка лет бурной "жизни и дальнейшего закаливания Фенг иногда гадал о том, что случилось с его подарком. И всюду с ним, приколотое к изнанке его нижней туники из самого грубого и наиболее прочного полотна, как залог и источник непреходящего раздражения было мягкое коричневое грудное перо, которое она дала ему.

II

Король был раздражен.

— Но чему еще мальчик может научиться в Виттенберге? — говорил Горвендил. — Ему же двадцать девять! А мне уже все шестьдесят, тут ноет, там болит, и сон вдруг сковывает! Гамлету давно пора вернуться домой и поучиться королевскому делу.

Геруте продолжала расчесывать густые волосы, которые в полумгле этого унылого зимнего утра испускали под ее щеткой ореол статического свечения. Некоторые искры были голубыми, другие желтоватыми, поразительно длинными; они выпрыгивали из-под на редкость жесткой щетки, когда Геруте особенно резко дергала

непокорную медную прядь. Чем дольше она водила щеткой, тем больше тончайших нитей поднималось над ее головой.

— По-моему, он находит нас слишком неутонченными. Мы чересчур много пьем, едим, орудуя охотничьими ножами. Мы варвары в сравнении с его тамошними профессорами.

— Неутонченными! Или он думает, будто жизнь — представление на подмостках, где кривляются мальчишки в женских платьях?

— Он не говорит мне, о чем он думает, — сказала она. — Да и вообще ни о чем со мной не говорит. Но Корамбис иногда упоминает про то, что слышит от Лаэрта, и, насколько я поняла, в образованных кругах на юге возникло брожение из-за обрывков древних знаний, которые привезли с собой крестоносцы, — арабы и византийские монахи переписывали их век за веком, да только никто их не читал. Что-то о новом научном взгляде на мир, что бы это там ни значило: позволить природе рассказывать нам о себе мельчайшие подробности, сначала одну, потом другую, третью, как будто женщины, дети, мельники, земледельцы не занимались этим во все времена. Вместо того чтобы брать на веру все, что говорят священники и Библия, имею я в виду. Вместо того чтобы исходить из первичных принципов, ты сам выводил свои принципы из массы частных, которые наблюдаешь. Извини, я говорю путано, но ведь еще раннее утро, мой дорогой.

— Ты подтверждаешь мои наихудшие подозрения. Мой сын там, на Эльбе, учится тому, как сомневаться! Учится издевательствам и кощунствам, пока я стараюсь привить благочестие и порядок скопищам датчан, замысляющих коварные планы и мятежи.

— Что еще говорил Корамбис? — задумчиво произнесла Геруте, а над ее головой все играли и играли всполохи. — Как будто про то, что человек есть мерило всех вещей, и в этом, право же, есть некоторый смысл: ведь мужчины и женщины тут вокруг нас повсюду, тогда как Бога (пусть мы все чувствуем, что он здесь — где-то здесь) наблюдать куда труднее. Тем не менее невольно усомнишься, годятся ли люди в мерило всех вещей. Мы ведь и себя не в состоянии толком измерить. Мы — единственное животное, которое совершает ошибки.

— Надо вернуть Гамлета, не то тинг избрет другого, когда я... если бы я... Ведь на меня, как я говорю, вдруг находят непонятные приступы усталости.

— Всего лишь нормальное старение, милый. Мне тоже чаще требуется вздремнуть, чем прежде. Ты проживешь еще не меньше двадцати лет, — сказала королю его супруга, вычесав особенно внушительную голубую искру из своих длинных волос, словно мысль эта не была для нее такой уж утешительной. — Вы, юты, крепче железа. Посмотри на своего брата. Пять ран после стычки с турками в засаде, и он все еще двигается, точно пантера, с волосами, гуще медвежьих.

Ей было приятно упомянуть Фенгона, недавно возвратившегося из своего пожизненного рыцарского изгнания и внезапно ставшего очень внимательным к тем, кто жил в Эльсиноре. Его шевелюра и борода, красиво обрызнутые сединой, сохранили пышность, тогда как светлые кудри Горвендила, когда-то столь великолепно нордические, печально поредели надо лбом и на затылке, открывая каменную крепость его черепа, мраморно гладкого.

— Да, — сказал он громко, расхаживая взад и вперед, подводя итоги, — мой шальной братец вернулся и болтается возле замка, будто чует тут свое будущее, а Гамлет, который должен был бы здесь

показывать себя достойнейшим преемником, проматывает дни в Виттенберге на бесплодные логические измышления, а ночи — в безумствах со шлюхами, что не бросило бы слишком большой тени на девятнадцатилетнего мальчишку, но марает мужчину на десять лет старше.

Он бушевал и гремел, будто лист олова, которым грохочут за кулисами, изображая гром. Геруте провела языком позади зубов, чтобы не сказать чего-нибудь слишком скоропалительного этому своему мужу с его тяжеловесной непоколебимостью. Она все чаще и чаще ловила себя на скрытности и взвешивании в разговорах с ним, прежде таких непосредственных и откровенных, хотя он по большей части отвечал невнятным бурканьем.

— Не думаю, — сказала она, — что у нашего сына есть склонность к грубым удовольствиям, за которые ты осуждаешь его не без зависти. Пока он рос, приобщение к тайнам природы, насколько было дано замечать матери, словно бы вызывало у него больше недоуменного удивления и отвращения, чем восторга. Он не находит радости в женщинах как таковых. Ему самому настолько присущ принцип пассивности, что в других пассивность его не привлекает. Лишь очень юный и хрупкий сосуд скудельный может заставить Хамблета забыть свою разборчивость. Я думаю, супруг мой, как уже упоминала, об Офелии. Ей семнадцать — тот самый возраст, в каком я вышла замуж, и во время своих нечастых приездов в Эльсинор принц все больше замечал ее, по мере того как она расцветала. И этим летом, мне кажется, их отношения перестали сводиться к поддразниваниям, которыми старший двоюродный брат отделяется от болезненно застенчивой обожающей его девочки. Она превратилась в красавицу с нежным характером и задорным умом, хотя по-прежнему остается застенчивой, как подобает девушке.

Расхаживая по их опочивальне, будто слепо ища выход из нее, Горвендил сказал:

— Она не просто застенчива, она немножко не в себе. В мозгу у нее трещинка, которая при любой беде может его вовсе расколоть. Кроме того, принцу положено жениться на принцессе, чтобы таким образом расширить связи престола, его влияние. Жениться на дочери своего камерария — значит совершить извращенный политический инцест. Корамбис так долго льстил нашим ушам своими советами, что я подумываю отослать его от двора — разумеется, названо это будет его заслуженным и щедро вознагражденным уходом на покой, возможно, с обретением его в охотничьем домике над Гурре-Се, на пристройки к которому и новую крышу он потратил столько капелек из королевского кошелька.

Неприятная новость для Геруте, которая считала Корамбиса своим союзником в Эльсиноре, обдававшим ее холодом даже больше, чем прежде. Она скрыла свое огорчение, возразив:

— Корамбис давал советы не только тебе, но и моему отцу Родерику. Он живая связь с моим девичеством и простыми веселыми днями, когда норвежцы только-только потерпели поражение.

— Вот именно. Он слишком уж привык греться возле королевской власти. Долгая близость к престолу вскармливает зависть и наглость. Его происки сделать свою худосочную дочку, чахлую, как ее покойница-мать, следующей королевой, лишив меня всякой возможности выгодного брачного союза, я приравниваю к государственной измене. Восточнее Новгорода есть принцессы,

которые ради западного брака принесут с собой приданое азиатского размаха янтарем, пушниной и тундровыми изумрудами. Женитьба Хамблета — это вопрос не сердечных склонностей, но дело государственной важности, подлежащее беспристрастному рассмотрению и взвешиванию. Нельзя доверять советнику с дочкой на выданье.

Геруте положила щетку, чтобы отвернуться от зеркала и сказать, глядя в лицо мужу:

— Никаких происков нет — ни Корамбиса, ни моих. Просто естественный ход вещей, который мы оба заметили, но вовсе не поощряли, — интерес Хамблета к этому цветочку, распустившемуся при его собственном дворе, пока он почти все время отсутствовал. Ну а она — как могла она не быть очарована нашим царственным отроком, пока он складывался в такого замечательного и обаятельного мужчину, завиднейшего жениха, но ни с кем не помолвленного? Однако она кроткая девушка и оставит всякую надежду, если ей прикажет отец.

— Ну, так пусть прикажет. Может, она и твоего брачного возраста, но ты не была бледной немочью, не вжималась в тень твоего отца, стоило ему только нахмуриться.

— Когда требовалось, то и была, — возразила Геруте, лицо у нее разгорелось, — как ты прекрасно помнишь, добившись своего, потому что я покорилась. В Офелии больше силы и здравого смысла и запасов страсти, чем тебе благоугодно думать. Мой инстинкт подсказывает мне, что она будет рожать крепких и здоровых детей.

Горвендил обратил на нее флегматичные бледные глаза, которые порой видели слишком уж много.

— Твой инстинкт подчиняется твоему желанию, моя дорогая. Ты упрямо видишь в ней себя молодую и хотела бы установить гармонию между нашим единственным наследником и отзвуками твоей юности. Геруте, не ищи в этой хрупкой девице средства для собственного запоздалого удовлетворения и победы над собственным сыном. Орудия выкручиваются у нас в руках, если мы неправильно ими пользуемся, и ранят нас.

Геруте со стуком положила щетку на туалетный столик из дуба и шиповника, где были разложены средства для поддержания красоты, в которых она, собственно, нисколько не нуждалась, хотя ей было уже сорок семь: щетка из кабаньей щетины с черными кончиками, два резных гребня слоновой кости, железные щипчики, чтобы выщипывать лишние волоски, которые расширяли ее брови, пробивались на ее округлых висках, четыре зубочистки — две из слоновой кости, а две из золота, ольховые прутики с концами, размоченными и растрепанными в волокнистые кисточки, чтобы сохранять ее улыбку сверкающей и оберегать от зубных червей, баночка из мыльного камня для растертой в порошок хны и еще одна с ляпис-лазурью, чтобы подкрашивать щеки и веки в дни торжественных церемоний, тальк, чтобы скрывать красноту кожи, и «душистый ларец» из благоуханного кедра с ароматными притираниями для смягчения кожи и разглаживания морщинок у глаз. В своем овальном металлическом зеркале она увидела лицо, все еще сохраняющее свежую девичью полноту и в эту минуту розовое от гнева из-за внезапного ощущения вины. Она сказала Горвендилу:

— Я всего лишь высказываю мысли о деле, про которое мой супруг заговорил сам, — как вернуть принца Хамблета ко двору, к его

царственному предназначению. Я сожалею, что мои побуждения кажутся двусмысленными, хотя мне они кажутся искренними и добрыми.

— Король постоянно получает добрые советы, так что выучивается распознавать за ними собственную выгоду того, кто их дает.

— И доходит до того, что подозрения высушивают его сердце до величины шишечки на его скипетре, — с жаром отозвалась Геруте. — Понятно, почему его сын отказывается вернуться домой.

— Он избегает не меня, — огрызнулся Горвендил, но тут же, испугавшись, как бы его королева не обиделась на столь ясный намек на нее, он поправился: — Ну... э... все дело в климате, — и замолк на описании местной непогоды, столь неуловимо вялой и неблагоприятной.

— А что произошло с Вирсавией? — спросил Фенгон у Геруте. Они сидели в одной из тех комнат Эльсинора, куда редко кто заглядывал, но слуга Фенгона, Сандро, стройный уроженец Калабрии с кожей цвета меда, убедил на очень скверном датском языке упировавшегося прислужника принести дрова и затопить очаг. Поленья были ясеневого, только что наколотые, и сильно дымили. Однако знатные собеседники не обращали внимания, что их глаза слезятся, а ноги замерзают, настолько они были поглощены тем, что сообщали друг другу под прикрытием слов.

В растерянности Геруте переспросила:

— С Вирсавией?

— Молоденькой бурой сапсанкой, которую я прислал тебе много лет назад. Ты забыла — так королевы привыкают к подаркам от почти незнакомых.

— Теперь почти, но незнакомый? Никогда. Я помню. Мы плохо сочетались, Вирсавия и я. Ее распечатанные глаза видели слишком уж много, и она все время «била» (это ведь так называют?), целясь во все блестящие предметы в моем покое, когда на них падали солнечные лучи. И она кидалась на звуки в стене, то ли мышей, то ли ласточек, гнездящихся в трубе, но слишком слабых для моих ушей. Мне не удавалось воззвать к ее разуму.

— С соколами это никому не дано, — сказал Фенгон мягким журчащим голосом, который, заметила она, приберегал для нее одной. С мужчинами и слугами он говорил громко и четко, даже властно. За прошедшие годы он прибавил в весе, его голос в громкости. — Разум над ними не властен. В этом они подобны нашим глубинным натурам, над которыми разум тщетно пытается поставить себя господином.

— Как я обнаружила, королеве в замке не так просто получать каждый день парное мясо. По ночам ее негромкие, но несмолкающие крики, плач по ее свободе, как я воображала, не давали мне спать. Старший сокольничий Горвендила забрал мою чахнущую от голода подопечную в королевскую соколятню, но там существовал давно установленный порядок, и другие хищные птицы, обломанные для службы людям, не пожелали принять нашу полудикую Вирсавию. Сокольничий опасался, что ее убьют, перервут ей горло или сломают хребет, в те необходимые часы, когда с птиц снимают колпачки, чтобы они могли размять крылья под высокими сводами соколятни. Думая,

что Торд... его ведь так звали... возьмет ее назад, я поехала в Локисхейм с двумя стражами, но нашла там только того мальчика, бледного хромого мальчика...

— Льота, — подсказал Фенгон, его собольи глаза искрились, питаюсь каждым ее движением, каждой интонацией, каждой черточкой ее лица, и Геруте, продолжая говорить, почувствовала, что ее язык и жесты замедляются, как музыкант замедляет темп, если слишком остро сознает, что его слушают. Под тяжелым сюрко на меху, зашнурованном спереди поверх голубой котарды из серебряной парчи, по ее коже побежали мурашки. Какая женщина — а уж тем более сорока семи лет от роду и более уже не худощавая — могла бы противостоять столь жадному интересу к себе? Она привыкла, что ею восхищаются, но не пожирают глазами, вот как сейчас.

— Маленький Льот, да-да, — согласилась Геруте, торопясь разделаться с этими неприятностями десятилетней давности, когда чуть-чуть зловещий подарок Фенгона впутал ее в своего рода секрет, хотя Горвендил был поставлен в известность о странном подарке его брата и презрительно засмеялся: «Если мужчине подарить прялку, — сказал он, — толку будет ровно столько же!»

Она продолжала, стараясь соответствовать осторожности в голосе мужчины, с которым разговаривала:

— Он сказал, что Торд заболел от старости и жестоких требований ухода за птицами, а твои, согласно твоему распоряжению перед отъездом, были уступлены продавцу этих ценных и опасных птиц в Недебо.

— Я не думал, что вернусь скоро, — объяснил ей Фенгон. — Я дал обет.

— Какой обет?

— Обет отречения.

— Отречения от чего, могу ли я спросить?

— У кого есть больше права спрашивать? Я отрекался видеть тебя, слышать тебя, вдыхать твое легкое, сводящее с ума благоухание.

Она залилась краской. У него была манера намекать словами на невыразимое, однако с ее зачина, и ей не в чем было его упрекнуть.

— Но с какой стати? — тем не менее возразила она. — Человек имеет право оказывать знаки внимания своей невестке, если это делается с уважением.

— Уважения мои мысли не исключали, однако заходили дальше.

Пугали меня своим неистовством, тем, что занимали все часы моего бодрствования, а по ночам, в ужасных искажениях, владели моими снами. В моих снах ты была распутна, а я носил корону. Возможно, мои опасения были династическими: я боялся, что из любви к тебе и зависти к нему могу причинить вред моему брату.

Геруте встала, отчасти от испуга, отчасти чтобы согреться в этой холодной задымленной комнате.

— Мы не должны говорить о любви.

— Да, не должны. Расскажи мне о судьбе бедной одинокой Вирсавии, слишком дикой для ее госпожи и слишком ручной для вольной природы.

— Мы отнесли ее, Льот и я, на твой луг, где ты показывал мне соколиную охоту, и освободили.

— Освободили? Но что для нее означала свобода? Только смерть в когтях более крупной, более дикой птицы, ни в чем не испорченной рукой человека.

Он тоже встал, чтобы не сидеть, развалившись в кресле, если королева стоит.

— Ее приручала не моя рука, — сказала Геруте, — мы сняли путы, и сначала она полетела низко, волнисто, словно волочила за собой креанс, который вот-вот потянет ее назад, но потом, не ощущая помехи, устремилась в небо и, поднимаясь, опускаясь, кружа, извела широту его просторов, но притом поворачивала и поворачивала, стараясь оказаться над нами, описывала недоуменные круги, словно не желала рвать привычную связь. Она начала спускаться, будто в намерении снова сесть на мое запястье, но свою перчатку из шагрени на стеганой подкладке я бросила в высокую траву, а она в полете углядела ее там и как будто хотела ее схватить и вернуть мне. Но нет! Тут она с клеткотом унеслась прочь к лесу Гурре в направлении Эльсинора.

— Ты помнишь все так, словно это нарисовано на твоей памяти. И может быть, она вернулась в Эльсинор, опустилась на твой подоконник?

— Нет, но моих мыслей она не покидала. Ведь тогда я поняла, насколько она была дорога мне, хотя хлопоты, которые она доставляла, мешали это почувствовать.

— Потому что ее надо было кормить, хочешь ты сказать?

— И убирать, оттирать грязь, которую она разводила, и проверять ее перья на клещей и вшей и вообще тревожиться из-за нее. — Ее фигура содрогнулась от негодования, словно чтобы заставить зазвенеть колокольчики на поясе. — Ты как бы обременил меня своим подобием, которым я не смела пренебречь, чтобы сохранять тебя живым, хотя неясно: то ли в твоих странствованиях, то ли в моей памяти.

— Жизнь, — признал Фенгон, — предъявляет жестокие требования. Parta! [б] — сказал он тихо своему слуге, и только когда смуглый юноша, чья тревожаще бесшумная легкость походки вызывала подозрения у тяжеловесных датчан, выскользнул из комнаты, Фенгон обнял Геруте там, где она застыла в ожидании, негодуя, устрешенная разверзшейся у ее ног бездной, но пламенея от желания, чтобы его губы — изогнутые, припухлые, почти как у женщины даже в обрамлении густой, черной, тронутой сединой бороды, уже готовые к соприкосновению, — слились с ее губами, и их дыхание взаимно осквернило бы их, и влага за их зубами была бы внесена языком в открытые теплые рты друг друга. В стеганном ромбами дублете он выглядел крепким, как дерево, как вздыбившийся молодой медведь — моложе, меньше, тверже Горвендила. И его вкус не отдавал гниющими зубами, недавним ужином, умягченным пивом, но был вкусом живой древесины, как корень мандрагоры, когда она, маленькая девочка, грызла и обсасывала его, прельщенная привкусом миндаля, намеком на сладость, исходящую из-под земли.

Она вырвалась из его объятия, тяжело дыша. Первое желание было удовлетворено, но следом уже теснились другие, череда бесстыдных просителей, и у нее закружилась голова.

— Это грех, — сказала она своему соучастнику в нем.

Он отступил танцующим движением, его губы изогнулись в веселом торжестве.

— Не по закону любви, — быстро и нежно возразил он. — Есть грехи против Церкви и грехи против природы, а она — более раннее и чистое творение Бога. Наш грех долгие годы заключался в том, что мы

противились нашей природе.

— Ты думаешь, я тебя любила? — спросила она, не пропустив мимо ушей дерзость его самоуверенности, хотя ее тело налилось тяжестью и томилось по его объятию, как раненый зверек ищет прибежища в лесу.

— Не могу поверить, — начал он осторожно, чувствуя, что малейший намек на вольность она может использовать как предлог, чтобы навсегда бежать его присутствия. — Возможно, это еретический догмат моей собственной веры, — начал он заново, — но Творец не зажег бы во мне столь яростную любовь, налагая запрет на ответную искру в предмете этой любви. Может ли молитва быть столь бессильной? Ты всегда с добротой принимала мое присутствие, вопреки греху всех моих отсутствий.

Ее сердце, ее руки трепетали; она чувствовала, что в ее жизнь грозит вторгнуться большой смысл, больше всех прежних с тех самых пор, как она, малютка-принцесса, молила о крошках любви Родерика в беспорядочной суматохе его распутного двора. Когда ты маленькая, всякий смысл — большой; если позже ты и утрачиваешь детскую опору заведомого прощения и нескончаемых спасений, тем не менее сбивающее с толку ощущение чего-то большего время от времени возвращается.

— Я могу продолжить этот разговор, — еле слышно сказала она Фенгону, — но не в Эльсиноре. Только погляди на нас: шепчемся, в этом холодном задымленном закутке, а твой слуга ждет снаружи, думая самое плохое! В этом королевском обиталище ничто не остается незамеченным, и моя собственная совесть морщится на малейший проступок, недостойный королевы. Было лучше, мой милый деверь, когда я могла лелеять твой образ в краях, какие только было способно нарисовать мое воображение, и с нежностью вспоминать, как ты осмеливался поддразнивать королеву голосом, подобного которому она никогда больше не слышала, чем быть с тобой здесь и встречать твои дерзкие настояния.

Он рухнул на колени у ее ног на ледяные плиты, обратив к ней не лицо, но склоненную голову с густыми поседевшими волосами и белой полосой там, где рана не свела его в могилу.

— Я ни на чем не настаиваю, Геруте, я только нищий, молящий о милостыне. Правда очень проста: я живу, только когда я с тобой. Все остальное — лишь актерская игра.

— А это не актерская игра? — сухо сказала Геруте, проводя по его щекочущим волосам ладонью, которая похолодела от ее рокового решения. — Нам надо найти сцену получше, не взятую взаймы у нашего короля.

— Да, — сказал он, вставая и тоже переходя, как она, на практический тон. — Мой брат сверх того еще и мой король, и это жгло бы желчью, даже не пади я настолько низко, что возжелал его жену.

— Меня... так давно пережившую свой расцвет? Милый Фенгон, неужели ты не встречал в средиземноморских землях женщин помоложе, которые помогли бы тебе забыть твою толстую и стареющую невестку? Ведь говорят, что вдали от наших пасмурных небес кровь струится жарко и ночи напоены ароматом лимонов и цветов. — Она пыталась увести их с предательской свинцовой трясины, на которую они вступили (это было ясно, хотя и не высказано вслух), вступив в преступный сговор.

Он ответил ей в тон:

— Да, так оно и есть, и там есть подобные женщины — ведь женщин полным-полно в любых краях, но я сын вересковых пустошей и тщетно искал взглядом северное сияние в тамошних небесах, где звезды висят совсем близко, будто плоды. Наши всполохи скользят неуловимо, дразняще. И в сравнении жаркое солнце и жирная луна, из которых южные народы черпают свою ясность духа, кажутся... как бы это сказать?... вульгарными, наглыми, грубыми...

— Неутонченными, — подсказала она, смеясь над собой и над гармонией между ней и этим обаятельным злодеем. Раз священники твердят женщине, что ее нижние части греховны, значит, ей надлежит взять в любовники дурного человека.

Геруте призвала к себе Корамбиса в тот день, когда король не мог потребовать их присутствия. Горвендил устроил смотр сподсбьергскому гарнизону, показавшись им в полном вооружении, дабы поддержать их дух для сражения, по его словам неизбежного, с молодым Фортинбрасом и его норвежскими ренегатами. Несколько дней Геруте могла дышать спокойно. Последнее, время близкое присутствие ее корпулентного преданного войне супруга вытесняло воздух из ее легких; при одной только мысли о нем у нее в горле поднимался тайный комок.

Камерарий казался стариком только что дефлорированной новобрачной, когда этот придворный, тогда еще стройный и только-только достигший сорока лет, пробежал на лыжах двенадцать лиг по свежему снегу, чтобы засвидетельствовать подлинность крови на простынях. А вот матроне сорока семи лет он казался немногим старше нее, хотя следующий день рождения будет для него семидесятым, а его неухоженная козлиная борода совсем побелела.

— Дорогой друг, — начала она, — среди этого двора ты один за королевской личиной увидел беспокойность моего сердца.

Его мокрая нижняя губа задумчиво подвигалась, прежде чем он объявил:

— Быть может, многие замечали ее мимолетно, но только мне была дарована честь обсудить с тобой некую неопасную смятенность чувств.

— Безопасное с годами становится неуправляемым. Неприметное раздражение завершается судорогами.

— Душевные тревоги, твое величество, — таков удел человек, даже самых высокопоставленных.

— Не брани меня. По-моему, ты меня любишь, — сказала Геруте, и ее рука в собственном нервно-непроизвольном порыве опустилась к его колену. Он, как обычно, сидел в трехногом кресле с резной, завершающейся острием спинкой, к которой никто не мог прислониться безнаказанно. — А от тех, кто нас любит, никакому стыду не дано нас укрыть. — Ее руки, так и не прикоснувшись к нему, запорхали, указывая на толстые каменные стены вокруг них. — Эльсинор стал моей темницей с тех дней, когда в нем у меня на глазах умирал мой отец. Он обязал меня и дальше быть здесь госпожой. Жить там, где мы живем с рождения, противоестественно: нашим разрастающимся корням приходится пролагать себе путь через груды старых обломков. Я надеялась, что годы снимут ощущение, что я заперта, как уши перестают слышать постоянно повторяющиеся звуки,

будь то грачиный грай или грохотание колес по булыжнику. Но этого не произошло. Ко мне приближается старость. Моя красота, которая более отражала всего лишь хорошее здоровье, чем какую-то особую прелесть, увяла, а я так и не пожила для себя.

— Для себя? — повторил Корамбис, двигая мокрыми губами, точно пытаюсь определить вкус неуловимого понятия.

— Я была дочерью моего отца и стала женой вечно занятого мужа и матерью далекого сына. Когда же, скажи мне, я служу той, кого несю в себе, тому духу, который волей-неволей продолжаю слышать и который искал выражение в моем первом кровавом крике, когда я вырвалась на воздух из истерзанного лона моей матери? Когда, Корамбис? И мне необходимо... это вовсе не должно тебя возмутить... Дряхлеющий государственный муж зачмокал, хлопотливо расправляя пышные складки рукавов своего упелянда.

— Но, возлюбленная Геруте, мы же определяем себя через наши отношения с другими? Вольного, ни с чем не связанного духа не существует. Если вторить твоей жалобе, так я, отец далекого сына, с тех пор как Лаэрт настоял на том, чтобы отполировать себя в Париже, и очень близкой дочери, чья близость раздувает мою тревогу, ибо она точная копия своей матери и живет под угрозой той же потусторонней красоты. Я, продолжая эту цепь зависимостей, вдовец Магрит и покорный слуга моего короля. А также, надлежащим образом расширив это утверждение, и его супруги, моей несравненной королевы.

В этом обстоятельном протоколе крылось малюсенькое жало — утверждение превосходства короля над королевой, как будто Корамбис заранее готовился к докучному и многим чреватому требованию. И она не замедлила с ним.

— Мне нужен мой собственный укромный приют, — сказала она камерарию. — Место, где я смогу быть «сама по себе» в любом твоём толковании, когда позволят мои обязанности. Вдали от кишашего людьми Эльсинора, однако настолько близкого, чтобы верхом я могла вернуться в замок за полчаса. Когда-то ты советовал мне поменьше читать и вышивать и побольше упражнять тело. Место, как я себе его рисую, укрытое среди вольной природы, свободное от чьего-то вечного назойливого присутствия, неотъемлемого от королевского сана, где в уединении и целебном безделии я могла бы вернуть себе величественность и благочестивость, приличествующие любящей супруге монарха.

Корамбис слушал, наклонив голову набок, распустив нижнюю губу, с сопротивлением, как она почувствовала, нараставшим по мере того, как приближался момент высказать просьбу, к которой подводила ее речь.

— Милый старый друг, — заставила она себя продолжить, перейдя на тон грудной мгновенной интимности, который отчасти свидетельствовал об искреннем порыве и импульсивной нежности, воскресшей с нарочитым обращением к тем дням, когда он еще был стройным, а она гибкой, — ты знаешь, с каким сознанием долга я укрощала свои чувства во имя нужд Дании. Неужели эта страна со всей россыпью ее островов настолько мала, что не может предоставить мне одно-единственное тайное убежище? Если я его не обрету, то, пожалуй, от досады возненавижу всю нацию, которая обрекает меня на заточение.

Корамбис уже давно насторожился, ощущая всю опасность ее

настроения.

— Не могу себе представить, что Геруте способна ненавидеть даже тех, кто ограничивает ее свободу. Тебя всегда отличали бодрость и щедрость духа. Розовым младенчиком в колыбели ты смеялась и протягивала свои игрушки всем, кто подходил к ней. Последнее время моя дочь была осыпана знаками твоего доброго внимания. Она смотрит на тебя почти как на мать.

— Да, я люблю Офелию, и не потому лишь, что, как мне зло указали, вижу в ней себя молодую. Я никогда не была настолько особенной, как она, и такой застенчивой. Я вижу в ней целительную силу, которая может излечить моего Хамблета от холодности, а с ним — и все это студеное королевство. Но я должна искать спасения, — торопливо продолжала она, — пусть хотя бы в редком уединении, более для меня драгоценном, чем, боюсь, я сумела тебе объяснить.

— Ты объяснила вполне достаточно.

— Как странно, что королева должна молить о том, что крестьянка обретает без малейших помех, отправившись, скажем, на сенокос! Каким чуждым должно казаться это страстное мое желание мужчине, которому достаточно закутаться в плащ, повернуться спиной и пожелать, чтобы мир провалился в тартарары! Корамбис, ты купил и перестроил дом на берегу Гурре-Се в уединении леса Гурре и снабдил его всеми удобствами, какие могут понадобиться гостю.

— Не дом, твое величество, отнюдь не дом. Его даже хижиной назвать нельзя. Скорее заброшенная охотничья сторожка, построенная из бревен да скрипучих половиц, старая кровля из соломы, новая из черепицы, построенная в дни, когда в окрестностях Эльсинора водилось больше дичи, а потом заброшенная, как я уже сказал. И к ней примыкает диковина — древняя каменная башенка, быть может, религиозного значения, святилище или часовня, воздвигнутая гонимыми отшельниками до великого обращения в христианство при Гаральде Синем Зубе, или даже святилище иной религии, ибо озера часто слыли приютом святости. Мне удалось, скажу не хвастая, гармонично включить эту древность в общее строение: закрыть провалы в древней каменной кладке современными кирпичом и известкой, воссоздать исчезнувшую крышу в черепице на крепких стропилах, как я уже сказал, и снабдить единственный проем в комнате самым новейшим и весьма дорогим достижением по части окон — стеклами в форме ромбов и кружков, вставленных в свинцовое сплетение рамы на железных петлях, точно подогнанной, которую можно надежно запереть на щеколду и закрыть ставнем или же открыть, чтобы дать доступ воздуху и любоваться видом озера, это уж как будет угодно живущему там. Этот мой прихотливый приют остается почти необитаемым, пока мои обязанности удерживают меня в Эльсиноре, но я замыслил его как свое последнее жилище, когда наконец-то буду избавлен от забот и хлопот моей службы и смогу предаться философии и упражнениям в святости. Он, как ты и говоришь, расположен уединенно и совсем неподалеку — в одной четверти пути к Одинсхейму, то есть в получасе езды от Эльсинора, если не утомлять лошади.

«Одинсхейма и Локисхейма», — подумали они оба.

— Короче говоря, это преддверие рая, — сказала Геруте, — предусмотрительно и заслуженно подготовленное в ожидании Судного дня. Правду сказать, я его видела, Корамбис, этой осенью в тот день, когда Герда и я взяли твою милую Офелию прокатиться верхом, чтобы

разрумянить ее бледные щечки. Она показала его мне с радостью девочки, которой подарили кукольный домик, — все последние устройства для освещения, огня и воды, но с сохранением верности старинному северному стилю с обилием рогов на стенах и пушистых шкур. И ни единого доступного взгляду жилья окрест, только церковь над озером, выщербленная колокольня которой свисает шпилем вниз с дальнего берега, и ни единого звука, кроме плеска маленьких волн, набегающих на берег, птичьего щебета да шороха лесных зверьков, преследуемых или преследующих. В таком месте я могла бы обрести утраченное спокойствие духа. И попросить тебя, мой милый-милый старый друг, я хочу вот о чем: нельзя ли мне раза два-три в две недели удаляться туда провести день в покое, взяв с собой вышивание или житие какого-нибудь святого, чтобы занять руки и глаза, или же в безделии, сложив руки на коленях, впитать благодать озера и леса в безлюдии. Мне нужен мир душевный, а Эльсинор его не приемлет. Теперь, когда середина моей жизни, с какой бы щедростью мы ее ни исчисляли, без сомнения, осталась позади, я жажду... скажем, чистоты духа, если не святости, в которой я обрела бы опору для того, что мне еще остается на земле. Прошу, даруй своей королеве свой приют на краткие сроки; со мной будут Герда и стражники, самые непоколебимо верные и немые в нашем гарнизоне, чтобы наложить печать тайны на одиночество, которого я взыскую.

Тут она оборвала свою длинную речь, хотя нервы подстегивали и подстегивали ее язык, — такой губительной звучала у нее в ушах ее почти невинная ложь, содержащая, как и любая хорошая ложь, крупницы правды, и так ее страшил ответ Корамбиса. И ее сердила подобная зависимость от слуги ее отца и королевского приспешника, чья обычная осторожность вынуждала ее почти умолять о небольшой услуге. Ему должна была бы польститься такая возможность, пусть даже не совсем обычная, угодить ей.

Изнутри своей головы, приплюснуто-округлой, точно выдолбленная тыква, Корамбис устремлял на нее взгляд, тощий от усилий ничего не выразить.

— Король... будет ли он среди тех, от кого твой приют будет храниться в тайне?

Это обязующее втягивание в обман, к вящей досаде Геруте, заставило ее сердце бешено забиться. Она торопливо ответила, а ее белые руки запорхали во множественности отрицаний.

— Разумеется, не будет ничего плохого, если он узнает, но, честно говоря, я предпочла бы обратное. Если он будет знать, то неизбежно будет присутствовать в моих мыслях, а я хочу, чтобы мои мысли были свободны даже от такого благодетельного вторжения. В своих попечениях обо мне он может приехать туда — все эти кони в звенящей и лязгающей сбруе! — как раз тогда, когда я вовсе не буду настроена на его супружескую заботливость. Я знаю, это может показаться чуточку бессердечным, но если ты вспомнишь свои счастливые годы с Магрит, то припомнишь и то, как браку необходимы времена уединения, иначе у осадка от мелких досад не будет времени бесследно рассеяться.

— Твои отъезды и возвращения не могут не быть замечены в замке. Начнутся толки.

— Ну, если король узнает об этих моих невинных отлучках, ему будет сказано с полной правдивостью, что цель их — духовные упражнения, возвышающие душу медитации. Я, которая прежде

понапрасну тратила мои дни, грезя над пустыми романами о рыцарях и чешуйчатых чудовищах, буду брать с собой переплетенные в телячью кожу списки Евангелий, или Посланий апостолов, или нравоучительные их толкования, вроде тех, которые наш епископ рассылает из Роскильда. Ведь чистая правда, Корамбис, — и никто не может засвидетельствовать это лучше тебя, — что двор моего отца не отличался благочестием и меня почти не наставляли в Христовых таинствах. Я исповедую христианство, как все добропорядочные датчане, но мало осведомлена в его догматах. Христос умер и воскрес, тем ниспровергнув природу, падшую вместе с Адамом, однако природа остается и внутри и вне нас. Как может мой король, чья вера настолько глубже моей и чей заветнейший план — сделать страну, которой он правит, более христианской, как может он быть против того, чтобы я в уединении тщила более приобщиться к святости?

Корамбис не любил Горвендила и никогда не любил, а вот ее любил. Преимущество Геруте заключалось в интуитивном сознании этого, опирающемся на тысячи мелких случаев и впечатлений, накопившихся за ее долгие дни в Эльсиноре.

— Не может, — подтвердил Корамбис и со скользкой улыбкой, от которой его борода подпрыгнула, и неуклюжим дергающимся поклоном, который он попытался отвесить, не вставая, так что трехногое кресло закрипело, он продолжал: — И я не смею отказать моей королеве воспользоваться моим смиренным приютом, если уж ее дух жаждет такого нисхождения в лесную глушь.

— Я жажду этого, хотя и с боязнью, как вторжения в те области меня самой, которые пока мне неведомы. Мне страшно, но я достигла возраста, когда уже нельзя колебаться, а надо идти вперед.

— Со всей самоотверженностью, — напомнил он ей. — В битву ради твоей души. Я предупрежу мужа и жену, которые живут в лачужке неподалеку и присматривают за моим охотничьим домиком над Гурре-Се, что королева будет приезжать и уезжать, когда ей заблагорассудится и ее не следует тревожить там.

— Королева очень благодарна и попробует найти способ выразить свою благодарность, — сказала она.

Но старый политик не позволил ей отделаться так дешево.

— Все блага слугам престола исходят от престола, — сказал он. — Ни в чем мне принадлежащем тебе не может быть отказано.

Однако должен признаться, что тут есть одно «но»: для человека в моем положении хранить что-либо в тайне от короля равносильно государственной измене, самому страшному из преступлений.

В этом была правда, и хотя она царственно привыкла к тому, насколько неразрывно многие судьбы связаны с ней, теперь ее сердце сжалось при мысли, что вместе с собой она втягивает в измену и старика. Его же не касаются ни ее обиды, ни ее пылание.

— Всего лишь маленький семейный секрет, — ответила она шутливо. — Ты соучаствуешь со мной в заговоре, цель которого сделать меня более достойной женой, более мудрой супругой.

Корамбис вздохнул, снова поерзал, меняя позу, и поправил коническую зеленую шляпу так, чтобы она находилась на одной линии с недовольным наклоном его головы. Руки он положил на подлокотники кресла, словно в намерении оттолкнуться и встать. Руки эти выглядели пугающе иссохшими, хотя в поясе он все еще сохранял дородство.

— Я делаю это ради тебя, той, какой ты была, — признался он ей,

установ от осторожничания. — Ты была такой жизнерадостной девушкой, а тебя привязали к этому свинцовому грузилу. Горвендил, белокурая бестия, который явился свататься в бургундском плаще и кольчуге, — свинцовое грузило? Она вступилась за него:

— Он все еще меня любит, мне кажется.

— В надлежащей мере и ни на щепоть больше, — сказал Корамбис, яснее ее понимая, куда они клонят, и не желая затуманивать картину. Вперяясь в будущее, он вздохнул: — Когда между королем и королевой возникает несогласие, головы их советников клонятся к плахе.

— Я бы не хотела, чтобы ты подвергал себя опасности ради меня, — солгала Геруте.

Он снова тяжело осел в неудобном кресле.

— Даже советники не всегда способны рабски следовать хорошим советам. Сказано: «Не занимай и не давай займы», однако жизнь — спутанный клубок уплат и неуплат. Она ловит нас всех в силки долгов. Подозреваю, наш король был бы рад отделаться от меня, что сильно увеличивает мой риск, а может быть, и уменьшает, — как именно, я не могу судить. Но, полагаю, моя ставка, измеряемая еще остающимися мне годами королевской милости, мала и продолжает уменьшаться.

— Ты — отец будущей королевы, — заверила его Геруте. — А в таком качестве тебя нельзя удалить от двора.

— А! Не слишком упирай на эту возможность, госпожа. Офелия еще дитя и легко уступит то, что невозвратно, не получив взамен ничего, кроме презрения. Хамлет высокомерен, разгуливает на поводке куда более длинном, чем у нее, и любит натягивать его до самого конца. Боюсь, он не ценит моего ангела, как ты и я. Геруте с трудом переключила свое внимание на эту нить заговора, настолько она была поглощена своим собственным, настолько очарована одержанной победой. Она заручилась приютом вдали от Эльсинора. И наступала весна. Сережки на ивах были длинными и отливали живой желтизной, а почки на дубах покраснели и набухли.

— Расскажи мне про Византию, — потребовала она от Фенгона во время их первого свидания.

По мере отступления зимы она привыкла посещать дом Корамбиса на берегу озера, милостиво кивая на почтительные приседания старухи у крылечка лачужки под соломенной кровлей, — ее хромым муж (он был дровосеком, топор соскользнул) уже торопливо ковылял по тропе, чтобы разжечь поленья в очагах. Два ее немых стражника ждали в прихожей с земляным полом, где еле тлел торф, позволяя им обогреть руки и ноги. Герда сидела в полуподвальной комнате с каменным полом, где помещался главный очаг, такой большой, что вместил бы кабана на вертеле, с дымоходом в коньке крыши, который открывали и закрывали длинным шестом; вдоль стен стояли лавки, достаточно широкие для ночлега десятка охотников. Геруте укрывалась подальше оттуда — сначала пиршественная зала со сводчатым потолком, украшенная оленьими рогами и растянутыми медвежьими шкурами с огромными оскаленными черепами; дальше по сводчатому новопостроенному коридору и вверх на шесть ступенек — древняя круглая башенка. Единственное сводчатое окно в толстой стене этой опочивальни, застекленное, с частым переплетом, выходило

на завесу зелени. Длинноигольчатые лиственницы перемежались с быстро растущими лиственными деревьями, ширящиеся кроны которых задушили бы их, останься они без защиты лесоруба. За листьями блестело озеро. Дым маленького очага, обложенного голубыми изразцами из Фрисландии, по новейшей моде выводился через трубу, встроенную в наружную стену, но Геруте предпочитала, чтобы ее обогревали жаровни с раскаленными углями, стоявшие на ножках справа и слева от нее, пока она склонялась над пьальцами или медленно переворачивала яркие пергаментные страницы Евангелий на неподатливой латыни.

Маленькие рисованные человечки в розово-голубых одеяниях с большими глазами, продолговатыми, точно рыбы, и маленькими детскими ртами пескариков вокруг каждого хитрого сплетения буквы иллюминировали святые тексты, как и животные невиданной окраски и самых фантастических форм, как и крылатые ангелы, доставляющие роду людскому миниатюрные свитки, или дующие в позолоченные рога, или поднимающие указательный и средний пальцы в грозном широкоглазом предупреждении. Ее радовало смутное ощущение благих вестей и далекого небесного порядка, источавшееся этими страницами, подобно тому, как от жаровен у ее локтей исходил приятный жар. Когда ей становилось жарко, она расхаживала по комнате мимо пуховой кровати под балдахином, поглаживая роскошь гладких изразцов и мраморной полки над очагом, и оловянные подсвечники, и свинцовое стекло — любострастие старого вдовца, воплощенное в этих хитрых новинках. Пузырьки в ромбовидных стеклышках окна изламывали и сгибали деревья. Она слышала торопливый топот мышинных лапок, и ее сердце трепетало, когда она пыталась измерить всю глубину измены, которую замышляла. Птичьи трели за окном, звучавшие все громче по мере того, как апрельский солнечный свет возвещал пернатому племени приближение времени витья гнезд, успокаивали Геруте напоминанием о незабываемой невинности природы. Но чем эти созданыца вознаграждались за свою невинность? Смертью со сменой времени года, когда с неба упадет ястреб или снег занесет осеменившиеся травы.

Со всей осторожностью она сообщила Фенгону во время их стесненных, случайных, но все более многозначительных обменов двумя-тремя словами в укромных углах огромного, официального звенящего эхом Эльсинора, о существовании ее уединенного приюта, а затем, где его найти, а затем — за несколько дней, за день, сегодня, — что она будет там одна, если не считать ее слуг, и не против, если он навестит ее там при условии соблюдения полной тайны. Рама сводчатого окна открывается наружу, и, когда окно распахнуто полностью, в него вполне может пролезть мужчина, если у него достанет ловкости взобраться на подоконник. Подоконник находится над землей на высоте в полтора человеческих роста. Символично, плющ с пышными листьями в форме сердец так прочно закрепился на больших старых камнях, что подновлявшие башенку каменщики, опасаясь, как бы при попытке убрать его не обрушилась вся стена, убрали только особо разросшиеся плети, не тронув главный искривленный ствол. Упорно живой, он мог послужить скользкой лестницей, на которой еле-еле уместились бы носки сапог. Фенгон, привязав коня в стороне от дома и посаженный Сандро, крепко цеплялся, карабкался вверх, кряхтел и ухмылялся такой своей пожилой

резвости. Геруте должна была поспешно потянуть его за плечо, когда он чуть было не застрял в оконной амбразуре — тяжесть его пятидесяти девяти лет уравнивала усердие его мышц. Вот так с ее помощью он оказался внутри комнаты на ногах, весь растрепанный, а его волчьи зубы с овечьим смущением щерились в пестреющей сединой овальной бороде.

Увидев, что, оказав ему помощь, она попятилась, испугавшись внезапной возможности угодить в его бесцеремонные объятия, он удовлетворился галантным, обезоруживающим поцелуем, который едва коснулся запястья ее трепещущей, белой руки. Теперь, все еще слегка запыхавшись, сидя рядом с ней в набегающих волнах жара от двух симметричных жаровен, он намеревался, пока они колебались у края пропасти преступного инцеста, исполнить ее требование. Освоенное им искусство дипломатии включало и умение говорить, не касаясь прямо истинной цели.

— Край этот напоминает Данию тем, — ответил он, — что состоит из островов. Но острова Византии постоянно перетасовывались войнами, которые веками благоприятствовали ее врагам — гуннам, венецианцам, франкам, никейцам, болгарам, грузинам, сельджукским султанам, аланам и куманам, персидским ханам, египетским мамелюкам. От ее некогда обширнейшей империи остался лишь лоскут, а остальное прибрали к рукам последователи Магомета, которые считают византийцев неверными собаками, и христиане, верные Папе в Риме, которые считают их еретиками. Тем не менее Константинополю присущ дух мирового центра, которого лишены не столь истерзанные столицы. Это величайший город мира — разве что в Китае найдется подобный ему. Ни один королевский двор в Европе не сравнится с тамошними пышностью и иерархическим блеском. Он, Константинополь, — фокус, где Азия встречается Европу, а Черная Африка соприкасается с белыми просторами, которые питают Волгу и Дон. Кого там только нет, Геруте! Мешанина из всего мира — я, к своему удивлению, встречал там даже датчан. Наши предки-викинги спускались вниз по бешеным порогам Днепра со своими боевыми топорами и янтарем и пушминой; некоторые выживали, чтобы зачать голубоглазых греков. Датчане, шведы, норвежцы и англичане служат в гвардии императора и очень высоко ценятся за свою грубую воинственность. Вблизи Адрианопольских ворот для нас отведено особое кладбище. Я провел много приятных часов, сообщая моим соотечественникам наши новости на языке, которым они почти разучились пользоваться. Для старых викингов Константинополь был Миклагардом, волшебным городом, где сны оборачиваются явью. Византийцы в зеркальном сказании называют Данию Бриттией и говорят, что ее посередине перегородивает стена: по одну ее сторону — здоровье и счастье, а по другую — моровые поветрия и множество змей. Но под это описание больше подходят их собственные двойственные натуры, одновременно и благочестивые и злодейские до предела. Они жестоки, как жестоки дети, в бесчувственной невинности. Для них христианское богослужение всего лишь внешнее растянутое лицедейство; священники совершают чудо преосуществления за изукрашенной ширмой, а затем сами пожирают все просфоры. Народ там смуглее нас, но совсем немного, а их волосам свойственна черная глянцеvitость, так что мои в сравнении выглядели тусклыми. Мою седую прядку они считали признаком колдовской силы. Их отличает большая любовь к

чесноку, баням и кастрации.

— Фенгон, ты говоришь о своих разговорах с тамошними датчанами, но разве ты не свел знакомство, скажем, с гречанкой, жаждущей родить голубоглазое дитя?

Он отмахнулся от ее ревниво закинутой удочки как недостойной его королевы.

— Общине там обретает весьма прихотливые формы. Их правители и священники — часто объединенные в одном человеке — говорят и на латыни, а не только на греческом, более гибком и плавном языке. Низшие сословия, имея дело с чужестранцем, обходятся смесью фраз, заимствованных с французского и итальянского и даже с примесью немецкого, хотя они считают Венгрию немецкой страной, а Испанию — калифатом; впрочем, обе эти нелепости имеют в себе крупицу истины. Наводняющие Константинополь еврейские и левантйские купцы объясняются на многих языках, как и тамошние проститутки — весьма многочисленное и преуспевающее сословие. Правительство с присущей ему циничной низостью забирает в свои сундуки одну восьмую заработка этого очаровательного сестричества. Геруте стиснула зубы. Будь у нее в это мгновение возможность воззвать к своему любимому Горвендилу, чтобы он сразил этого наглого насмешника, лениво плещущегося в воспоминаниях о своих блудодействиях, она бы это сделала.

— Так мне, во всяком случае, рассказывали, — продолжал Фенгон не моргнув глазом. — Сам я был связан обетом с моей недостижимой госпожой и с готовностью хранил целомудрие в служении ей. Да и нетрудно было подавлять потребности плоти там, где, с одной стороны, культивируются омерзительные эксцессы, а с другой — аскетизм и самоувечья. Монастыри строятся на диких горных уступах или одиноких островках подальше от мирских соблазнов, однако для некоторых монахов уединение и укромность таких мест недостаточны, и они часто ввергают друг друга в содомию. Святым отшельникам воздают должное в пропорции к жестокости истязаний, которым они сами подвергают себя. Они обрекают свои тела на бессонницу, на стояние выпрямившись по многу дней подряд; они ликующе морят голодом свои грешные животы; они забираются на столпы и десятилетиями живут на их верхушках; они милостивее к червям в своих ранах, чем к собственной терзаемой плоти. В мании очищения они поселяются в ямах, как святой Иоанникос, или обитают в болотах, кормя комаров, как святой Макариос. Есть еще квиетисты, которые искренне дожидаются, чтобы божественный свет вдруг полился из их пупов.

Геруте хихикнула от изумления, чем поощрила Фенгона продолжить его поразительный рассказ.

— Одно время, Геруте, их Церковь ополчилась против своих же икон — чудесные мозаики выдирались из стен и сводов ее соборов — и приговаривала к смерти тех верующих, которые прятали у себя дома образы Христа и его Пречистой Матери. А их храмы, в отличие от наших, чисто пахнущих кедровым деревом и омелой, провоняли тошнотворно-сладким запахом ладана и елея, а также лампадным маслом. В Византии столь же невозможно отличить помешанных от святых, как епископов от наемных убийц, — их болезненно-мрачная религия пробуждала во мне тоску по простоте нашей, более свежей, незатейливой веры, которая внешней помпе предпочитает внутреннюю чистоту.

— Не понимаю, как мы с тобой смеем говорить о чистоте!

Зубы Фенгона блеснули бледной львиной коричневатостью.

Нижние теснились неровным рядом, а клыки были острыми.

— И что? Разве эта наша встреча не целомудренна? Разве наша беседа хотя бы раз прятала намек на супружескую измену? Если да, так я для начала отрежу себе язык. Ты приняла меня сквозь такие прямые ворота, — он кивнул на оконную амбразуру, — что я не мог бы принести ни единый дар данайцев.

— У тебя есть для меня подарки? — Какой она еще ребенок, пришло ей в голову, так загорелась любопытством узнать, что могут сообщить материальные предметы про его мысли о ней в такой далекой и сказочной стране. За окном чирикали птички на своем варианте отрывистого и певучего датского языка, и пуговики бледно-зеленых почек, набухших лишь вчера, усеивали прохладный воздух, затененный лиственницами. Этот мужчина при всех его изворотливых неведомостях возвращал ее к ней самой. Никакой ее недостаток не вызвал бы у него хмурого выражения, которое появлялось на лице ее мужа, когда она требовала от него внимания. Словно возродилось отцовское одобрение Родерика. Сосредоточенность Фенгона на ней одновременно и обжигала, и успокаивала. Он засмеялся ее наивной жадности и сказал:

— Если мне будет дозволено навестить тебя еще раз, так, быть может, я смогу воспользоваться входной дверью, как мой слуга Сандро, который сейчас сидит внизу с твоей Гердой, деля с ней пироги и сидр и заговорщическое молчание.

Она тоже засмеялась:

— Ты способен видеть сквозь стены? Ты и вправду стал в Византии колдуном?

— Не колдуном, но... э... космополитом, знатоком человеческой природы. Я жил там, где перемешаны люди любых рас и склонностей и все безмолвно разрешено. Dунатос, власть имущие, живут в роскоши порфира и яшмы, а в двух шагах от их раззолоченных дверей ютятся и голодают бездомные и мать умирает, пока младенец сосет пустоту. Крайности благочестия и жестокости смыкаются там в кровавом тумане. Они карают супружескую измену, отрезая задорный носик дамы, после чего она удаляется в монастырь, который, в свою очередь, может быть борделем — так широко там распространено святое призвание. Когда низлагают императора, что случается не так уж редко, новый, словно оказывая вежливую услугу, выдавливая глаза своего предшественника, чтобы надежнее подготовить его для мира иного и убрать из политики этого мира. И все же они отнюдь не звери, эти византийцы. Радости битвы вызывают у них брезгливость. Они предпочитают откупаться от своих врагов или набирать наемников в других, менее цивилизованных, странах для сражений с этими врагами. Их любимое средство для частных убийств — отравление, которое их аптекари отполировали в высокое искусство. Эти восточные римляне отсекали совесть от религии, и это освобождает их, позволяет двигаться в шелках, будто в садке с переизбытком угрей, друг поперек друга без обдирающих тупых трений, которые столь обычны здесь, на севере, которому они дали чарующее название «Фуле». Она содрогнулась.

— Тем не менее я рада, что туда ездил ты, а не я.

— О, к тебе они отнеслись бы с великим почтением. Рыжие рабыни продаются вдвое дороже темноволосых.

— А тебе очень-очень не хватает этих тепловодных угрей? Боюсь, наши морозные обычаи должны тебе крайне досаждать.

— Я один из вас, Геруте, датчанин до мозга костей. Лишь одна-единственная госпожа отвечает моему внутреннему идеалу. Ты моя хагия софия, моя божественная мудрость.

— Мудрость, сударь, или безумие? — Она улыбнулась, открыв щелку между передними зубами.

— В Константинополе, — объяснил он, — есть множество религиозных течений, и одно из них учит, что каждому человеку присущ свой Образ Света, его собственный дух, пребывающий на Небесах вдали от адской тюрьмы материи, повсюду нас окружающей. В миг смерти его Образ Света дарует ему так называемый Поцелуй Любви, воспроизводимый в некоторых еретических сектах, к вящему ужасу ортодоксов. Она — его спасительница, явленная София-Мария, женский принцип божественности. Назови это, если хочешь, выпренностью, но я верую, что для меня она — ты. Геруте залилась краской от жара столь пламенного описания его чувства.

— Да, выпренность на грани богохульства. Слишком уж фантастичное облачение для природы.

— Но только такое выражение подходит для моих чувств. В нашей земной юдоли мое преклонение нелепо, я знаю. Ты женщина, а их много, как я признал минуту назад.

Она ответила словно с обидой:

— Ты готов богословствовать, пока не откажешь мне в реальном существовании. Я предпочла бы весомые дары, — сказала она ему почти гневно с достоинством королевы, — которые, по твоим словам, ты привез, но не можешь протиснуть в окно. В следующий раз воспользуйся дверью, как твой слуга. Мы слишком стары для кувырканий щенячьей любви. Пусть приют Корамбиса будет нашим на час-другой для бесед, которые мы пожелаем вести без боязливой опаски. Те, кто знает об этом, наши пособники, а кара за пособничество обрекает их на молчание.

— Я боюсь не за себя, — сказал Фенгон, произнося слова медленно, словно каждое из них было пробным камнем искренности. — Все эти годы я играл с опасностями, давая Богу бесчисленные возможности избавить мир от моей неукротимой страсти. Любовь эта ничем не грозила, пока ты оставалась вне досягаемости, моя *amors de terra lonhdana* [7]. Но теперь ты рядом, твои движения и лицо, как ключ, подходят к замку моих фанатично хранимых воспоминаний о них. Я боюсь за нас обоих. Боюсь за престол и за Данию.

— Быть может, ты боишься слишком уж сильно и слишком уж привержен грезам. Великие судьбы весьма редко решаются прихотями женского сердца. Ты зовешь эфирным то, что в действительности мы разделяем со всеми животными. По-моему, мы уже и раньше вели этот спор о любви — небесная она или земная. Сама я земная, и мне не терпится подержать в руках и взвесить подарки, которые ты, по твоим словам, привез из этого Миклагарда, который я никогда не увижу, я, бедная бледная госпожа над Фуле.

Фенгон понял, что на этот раз она не дарует ему ничего сверх этого ультиматума, и откланялся. Сандро не ожидал, что он удалится так рано и уйдет по коридору через комнату с очагами: во всяком случае, он в растерянности обернулся, оторвавшись от своего

разговора с Гердой. Она была вдвое его старше, но сохраняла следы миловидности. Они пристроились над чашами с горячим сидром у центрального пласта тлеющих углей и сочиняли собственный язык — Сандро восполнял свои пробелы в датском гибкими жестами, заставлявшими ее моргать.

— Una regina, — сказал ему Фенгон в ответ на его вопросительный взгляд, когда они отправились обратно, — non e una gallina [8].

Неделю спустя, когда почки на кленах и ольхе из плотных пуговичек развернулись в многолистиковые подобия миниатюрных кочанов капусты, он привез свой первый подарок: кулон из перегородчатой эмали в форме павлина — развернутый веер хвоста, в середине которого на гордом фоне зеленых перьев с желто-черными глазками выделялись мерцающие синевой шея и голова. Каждый сегмент эмали был обведен золотой чертой тоньше самой тонкой нити — даже самые крохотные кусочки, белые и красные, зеленые и серые, складывавшиеся в повернутую вбок голову с загнутым книзу клювом. Создатель такой изящной вещицы должен был неминуемо ослепнуть — и скоро. Его слепота была частью ее стоимости.

— Ты всегда даришь мне птиц, — сказала Геруте и тут же вспомнила, что первый такой подарок, пару коноплянок, ей сделал Горвендил.

— Павлин, — объяснил он, — у них символизирует бессмертие.

Эти птицы бродят чуть ли не во всех дворах, волоча в пыли свои длинные перья, вытягивая радужно переливающиеся шеи, чтобы испустить режущий ухо крик, более подходящий для души, терзаемой в аду, чем для эмблемы Рая.

— Такой красивый и тяжелый! — Она подняла кулон вместе с золотой цепочкой, пролившейся на ее розовую ладонь, точно струйка воды.

— Проверь, каким он окажется у тебя на шее. Могу я надеть его на тебя?

Геруте поколебалась. Потом наклонила голову и разрешила ему эту вольность. И его пальцы погладили ее волосы, такие тонкие и светлые у шеи, где его пальцы возились с застежкой цепочки. Его губы, малиновые, красиво очерченные, приблизились к ее глазам на ширину ладони, пока он нащупывал крючок. А нащупав, опустил руки, но его рот не вернулся на прежнее место. Каждый черный волосок его усов поблескивал, будто эмаль. Перышко его дыхания, пахнущего заморской гвоздикой, щекотало ей ноздри. Она подняла палец, чтобы коснуться бахромки над его губами в желании зеркально воссоздать там щекотку, которую ощущала на шее. Вес кулона лежал там прохладной полосочкой. Два их тела совсем рядом она ощущала как гигантские, словно сложенные из крохотных вращающихся микрокосмосов, в которых каждая частичка, каждое волоконце столь же бесценны, как эмалевые кусочки, слагающиеся в бессмертного павлина. Прохлада толкнула ее искать теплоты его губ, там, куда едва прикоснулись кончики ее пальцев.

Она и Фенгон поцеловались, но не так жадно, не так влажно, как тогда, в Эльсиноре. Здесь, в их собственном, несравненно более скромном замке, они более опасно делали шажки вперед вдали от

отеческой защиты короля, пытаюсь одомашнить вопиющее беззаконие, которое замыслили их тела. Геруте больнее ощущала свою вину, ее-то ведь связывали узы брака, — и все же в ней поднялось былое возмущение, чтобы встретить и подавить укоры совести, пока длился этот поцелуй, и несколько его менее скоропалительных, более практичных преемников, пока, измученная этой внутренней революцией, она не отодвинулась и не попросила Фенгона рассказать еще что-нибудь.

Однако Византия, да и вся Европа к югу от Шлезвига, с каждым днем в Дании стирались в его памяти, и его путешествия уже казались ему нетерпеливостью, чуждой флегматичным датчанам, обоюдоострой твердостью внутри него, выжидающей, как меч в ножнах. Геруте сосредоточилась на том, чтобы выманить наружу прошлое его юных лет — детство в Ютландии, первые набеги под водительством Горвендила, лоскутное образование, исчерпавшееся зубрежкой под надзором священников, — а затем заговорила о себе, весело, с беззаботной откровенностью вспоминая свои обиды на отца, мужа и сына так, будто все они были эпизодами в забавной истории какой-то другой женщины. Фенгон расслышал в ее веселости новую решимость идти вперед с собственной упругой твердостью. Она, казалось ему, пьянела от предвкушения и крепилась не чувствовать себя виноватой. Судя по тактичному поведению Сандро на обратном пути в Локисхейм, у королевы он пробыл примерно положенное время. Вторым подарком ей, привезенным в ту неделю, когда почки развернулись настолько, что заполнили леса желтовато-зеленой дымкой, был серебряный кубок, такой тонкой ковки, что о край можно было порезать губы, и инкрустирована была только ножка, но зато очень плотно — кристаллами зеленого хризопраза, розового кварца и коричневатого-багряного сердолика. Чашу кубка покрывало кружево чеканки, которое при более пристальном рассмотрении оказалось деревьями, но деревьями куда более симметричными, чем возможно для деревьев, по спирали уходящими внутрь среди лиственной невероятности, в которой угнездились змеи и яблоки и еще птицы, непомерно большие для черточек-веток, на которых они симметрично расположились. Их глаза были обведены кольцами, клювы соприкасались с треугольными пучочками — виноградными гроздьями, решила она. На стороне кубка, напротив перегруженного сплетения деревьев, симметричные звери располагались возле столпа, увенчанного крестом, — крестом, чьи раздвоенные концы разворачивались наружу линиями, которые обрамляли что-то вроде звезды. По сторонам столпа, словно перед зеркалом, звери были конями телом, только ноги не завершались копытами, но когтями, слишком длинными для львиных лап. Передние ноги в плечах разворачивались вверх перистыми крыльями, а морды, повернутые прямо, не были лошадиными или львиными, но лицами улыбающихся женщин — женщин с челками, с обвивающими тонкие шеи ожерельями, квадратные составные которых гармонировали с разделенными прядями челок. Лица этих женщин — а может быть, детей — были красивыми и безмятежными.

— Это фениксы? — спросила Геруте, которая в увлечении только теперь обнаружила лицо Фенгона рядом со своим — он тоже исследовал узор, потому что купил этот подарок давным-давно и почти забыл тонкости византийской чеканки.

— Да, что-то вроде, — ответил он. Его голос в такой близости от

ее уха таил хрипловатые, влажные метины дыхания, внутренней текстуры, шелест неуверенности. — Греческое слово для них «химера» от «коза» и означает чудовище-женщину, составленную из частей разных животных.

Его ладонь, заметила она вдруг, лежала у нее на талии с другой стороны от него, и прикосновение было таким же легким, как и тканей. В неожиданном тепле апрельского дня она сбросила свою черную шерстяную накидку, оставшись в одном расшитом золотом блио поверх камизы из белого полотна. Она не отодвинулась и ничем не выдала, что заметила его прикосновение.

— И драгоценные камни, — сказала она, поглаживая их выпуклую гладкость, окаймленную выпуклостью серебряной оправы.

— Еще одно фантастическое сочетание. Такая толстая инкрустированная ножка под такой тонкой, легко проминающейся чашей. Рядом изделия даже самых искусных наших датских кузнецов выглядят грубыми.

Бугристая тяжесть привела ей на память нечто; которое она часто обхватывала пальцами со смешанным чувством брезгливости и страха, уступавшим место веселости и изумлению.

— Давным-давно на рынке в Фессалониках мне в нем понравился, — сказал Фенгон мягким журчащим голосом, — и напомнил тебя дух веселья. Доброжелательности. И лица химер тоже напомнили мне тебя — двух тебя.

Свет из сводчатого окна выявлял насеченные линии. Да, подумала она, улыбающиеся лица походили на полное лицо, которое она каждое утро видела в своем овальном металлическом зеркале, хотя она и не носила аттической челки, а укладывала туго заплетенные косы на затылке. Две ее для двух братьев — эта фантазия вызвала тревогу, дурное предчувствие, которое она день изо дня пыталась подавлять, как приступ тошноты.

— Мы должны вместе испить из этого великолепного подарка, — объявила она. — Быть может, Сандро и Герда сумеют прервать свою беседу, чтобы принести нам кувшин рейнского вина. У Корамбиса в кладовой стоит целая его бочка. Запасов всякой провизии у него хватит, чтобы выдержать долгую осаду. Горвендил все чаще и чаще говорит о нем как о мошеннике, который заботится только о собственной выгоде.

Она тут же пожалела, что произнесла мужнино имя, хотя Фенгон знал и это имя, и человека, носящего его, вдвое дольше, чем она.

— Молот никогда полностью не ошибается, — сказал он, освобождая ее от своего прикосновения, и отошел, пританцовывая в своей игривой чужеземной манере. — Будь я Корамбисом, так тоже позаботился бы о своей безопасности. Если считать это свойством «мошенника», кому удастся избежать этого эпитета... Так, значит, вино? Но у нас на двоих всего один кубок. Обойдемся им?

— В кладовой их дюжины и дюжины.

— Но этот, же наш. Твой. Ведь я преподнес его тебе вместе с обетом преклонения.

Он смело покинул их уединенный покой, и вскоре Герда с лицом, застывшим в маске почтительного «что угодно?», подала им на липовом подносе не только глиняный кувшин, но и хлеб, и сыр. Фенгон кинжалом нарезал их кусками. Вино было густым и сладким, и под его воздействием они, отхлебывая сначала с противоположных сторон чаши на тяжелой ножке, а потом с одной, волей-неволей

терлись друг о друга и упали на кровать, где, не сняв с себя ничего, принялись нащупывать чувствительную плоть и обмениваться пахучими поцелуями: их кислые от вина рты разили сыром и все-таки были сладостными, глубоко-глубоко; будто две большие ангельские воронки лили в соединенные губы слишком долго запруженную эссенцию их душ, все раны, нуждавшиеся в исцелении, все утешения до этого мига не изведенные. Под одеждой они вспотели и порозовели. Его руки искали ее бедра, ее груди сквозь вышитое блио, в шрамах обметанных швов, зачехлявшее ее от шеи до пяток. Полоска росы выступила на верхней губе Геруте среди светлого пушка, которого он прежде не замечал. Ее рука искала ниже его бархатной стянутой поясом туники бугристый стебель, о котором ее пальцам напомнили выпуклости камней на ножке его подарка. Но вопреки этому произвольному пыланию, этим потным ласкам и подавленным стонам, шипящим вздохам и прерывистому шепоту, томление духа было слишком велико, чтобы обрести освобождение теперь же. Бремя рока было слишком тяжелым для их слабой плоти. На другой день ей пришлось сопровождать короля в Сконе, дальнюю лиловую полосу за угрюмым Зундом, датскую землю с того темного века, когда юты и англй поделили великий полуостров, ныне управляемый из Эльсинора. Сконе с Халландом и Блекинге примыкало к землям шведского короля, и он алкал жирной почвы и богатых уловов сельди. Горвендил считал политически полезным отправиться туда с королевским объездом. Он и его королева посетили Лунд, где архиепископ закатил в их честь трехдневный пир, и Дальби, где епископ устроил торжественную процессию вокруг городских стен, возглавленную множеством святых костей, каждая в своем реликварии. Геруте и Горвендил патриотически посетили поле Фотевиговой битвы, где более века тому назад Эрик Достопамятный нанес решительное поражение Нильсу и его сыну Магнусу, которые предательски убили герцога Кнуда Хлебодателя, победителя венедов в Гаральдстедском лесу. Магнус пал при Фотевиго вместе с ним много ни мало, как с пятью епископами. Победе Эрика поспособствовали три сотни немецких рыцарей в полном вооружении, которых он нанял для этого похода, — технологическое нововведение, благодаря которому созывы крестьянских ополчений разом ушли в прошлое.

Тут, размышляла Геруте, и зародилась профессия Фенгона, вольного воина. Она обнаружила, что постоянное общество Горвендила все больше отодвигает связь с его братом в область снов. Путешествуя, Горвендил всегда представлял с наилучшей стороны на пирах и смотрах, устраиваемых в его честь, и очаровывал высших сановников своей разжиревшей нордической красотой. Выстроившиеся вдоль дороги толпы встречали их приветственными криками и бросали весенние цветы — нарциссы и ветки цветущих яблонь — под ноги их фыркающих коней, которые нервничали среди шума и суматохи.

Побочным следствием праздничного настроения было более нежное внимание, которым он окружал свою королеву. Они вновь начали заниматься любовью под балдахинами кроватей принимавших их прелатов, будто вернулись первые дни их брака, будто дни эти не сменились скукой пресыщения, не ушли в далекое прошлое. Ее муж был дороднее Фенгона, его тело в ее объятиях было не таким мускулистым и полным жара, его борода была не такой густой и упругой, но он был так хорош, верный своему долгу король и муж! И

он и так и эдак был ее — ее король, ее муж, ее победитель. Его молот приносил ей полное удовлетворение. Ей надо только сохранять неподвижность верного рунического камня, который король Горм поставил в честь Тиры, славы Дании, и ее ждут счастливая судьба и общее почитание. На таком расстоянии ее кровосмесительное заигрывание с Фенгоном внушало ей ужас. Как губительно близка она была к падению! Сразу же по возвращении она скажет ему мягко, но бесповоротно, что их встречи должны прекратиться. Ей не терпелось сделать это, избавиться от нависшей угрозы (как могла она дойти до подобного!) позора, и в Сконе это нетерпение вызывало у нее бессонницу.

Однако после ее возвращения в Эльсинор Фенгон редко туда заглядывал, а когда приезжал, то ради каких-то дел с братом и двором. Порыв Геруте отвергнуть его сменился мучительным ощущением, что отвергнута она. Ее щеки горели от стыда при мысли о признаниях, которые она настойчиво нашептывала ему, и о их глубоких поцелуях, и о том, как она пылала под одеждой, чей покров только и удержал ее от губительной капитуляции.

Неделю спустя после ее возвращения Корамбис отвел ее в закоулок длинного, в каменных столбах, неровно вымощенного плитам коридора, который вел в часовню

— Поездка в Сконе добавила новое сияние облику моей королевы, — сказал он как-то выпытывающе, будто хотел услышать возражение.

— Было большим облегчением выбраться из Эльсинора с его интригами, — сказала она не без надменности. — Король блистал в ореоле славы. Народ там встречал его с обожанием.

— Солнце встает на востоке, — сказал Корамбис. Его глаза в красной обводке под пожелтелыми дряблыми веками заискрились, будто сказал он нечто весьма остроумное. Она вдруг подумала, насколько он уже впал во второе детство: эта нелепая, давно устаревшая коническая шляпа, этот упелянд с волочащимися по полу складками рукавов. Ей стало понятно, что может чувствовать Горвендил: следует избавиться от болтливости старого бремени.

— Народ так доверчив и любящ! — сказала она. — Иногда ведь просто забываешь, кем ты правишь. Сердце просто ободряется, когда видишь их.

— Без забвения, государыня, жизнь была бы непереносимой. На нас обрушивалось бы все, что мы когда-либо чувствовали и знали. Набилось бы, будто тряпье в мешок, — говорят, именно это случается, когда человек тонет. Уверяют, что это безболезненная смерть, но верно ли это, могут подтвердить только утопленники, а они молчат, будучи таковыми. То есть утопленниками.

Он выжидающе умолк, наклонив голову, а с ней и шляпу, проверяя, что она почерпнет из этих перлов мудрости.

— Я попытаюсь не утонуть, — объявила она холодно. Ей было ясно, что ему не терпится выйти на тропу их общего секрета и бывшего сговора.

— Вся Дания желает тебе благополучно плыть; и никто не сильнее, чем я. Мое смутное старое зрение радуется, видя, как дочь Родерика купается в той любви, в том почитании, на какие дает ей право ее гордая кровь. Престол, как мы уже говорили в одной из наших бесед, доставлял тебе меньше счастья, чем воображают множества и множества не сидевших на нем.

— У нас за время нашего долгого знакомства было много бесед и о том, и об этом.

— Поистине, и молю о прощении, если тебе могло показаться, будто я навязываю тебе еще одну. Но, говоря о забвении, как мне кажется мы только что говорили, если я не забыл, то наш взаимный друг сомневается, не был ли он забыт среди волнующего блеска и восторгов твоего путешествия.

— Он не покидает Локисхейма и сам кажется забывчивым.

Корамбис. Последнее живое звено между ней и безалаберным двором ее отца, гарантия ее детской личности, теперь, казалось, сбивал ее с пути, тащил назад к тому, что она твердо решила оставить позади себя.

— Нет, он совсем не забывчив, но он уважает твои желания.

— Мое желание... — Нет, она все-таки не могла доверить этому дряхлому посреднику слова разрыва, которые Фенгон заслуживал услышать из ее собственных уст.

Язык Корамбиса тут же воспользовался ее паузой.

— Ему ведь нужно преподнести третий подарок, поручил он напомнить тебе. Последний, и если ты снизойдешь принять этот подарок, он ознаменует конец и его преподношениям, и его еретическим устремлениям, что бы эти слова ни означали. Фраза принадлежит ему.

— Мое желание, собиралась я сказать, более не пользоваться твоим уединенным охотничьим домиком у Гурре-Се теперь, когда погода настолько приятна, что позволяет искать уединения под открытым небом. Твоя королева весьма благодарна тебе за твое нестеснительное гостеприимство. В моем тихом одиночестве я вновь обрела меру спокойствия духа и покорности судьбе.

И все-таки ее сердце забилося при мысли о Фенгоне наедине с ней там, где укромное озеро переливается блеском до дальнего перевернутого берега, отражая небо, как огромный овальный поднос из серебра.

— Он поручил мне умолять тебя назначить день, — мягко настаивал Корамбис с нежеланием придворного нарушить королевский покой.

Надменно, жалея, что этот сводник и его жалкая дочка оказались замешаны в ее планы, Геруте назвала следующий день.

Леса вокруг них зеленели новой, не до конца развернувшейся листвой. Теплый моросящий дождик еще больше заслонял все вокруг. Дальний берег озера с его церковью был невидим. Апрель сменился маем. Стражники, которые сопровождали ее — невозмутимые по пути туда, размягченные, а то и просто веселые на обратном пути, благодаря элю, испитому за время ее рандеву, — на этот раз выглядели серьезными и настороженными, будто чувствуя, что наступает решающий момент. Герда, отмечая давно откладывавшееся возобновление пикников, упаковала обильнейший завтрак — достаточно сыра, хлеба, солонины и сушеных фруктов на шестерых, — и вид тяжело нагруженной корзины из ивовых прутьев каким-то образом придавал беззаботность поездке, и она начинала казаться не такой уж окончательной, как замыслила Геруте. Мы едим, мы ездим верхом, мы воспринимаем дни в тонах их погоды, мы

любим, мы вступаем в брак, мы встречаем жизнь в каждой ее Богом назначенной стадии, и ни морозная язва, ни несчастный случай не обрывают ее: жизнь — часть природы, начало ее невозможно припомнить, а о ее конце не должно задумываться вне стен церкви, приюта всего последнего.

Фенгон и Сандро задержались, как никогда прежде, словно оттягивая приговор не в свою пользу.

Когда они приехали, то, мокрые насквозь после девяти миль из Локисхейма под дождем, Фенгон расстроено объяснил:

— Приходилось соблюдать осторожность, дорога местами каменная, так чтобы лошади на камнях не оскользались.

Он знал, что проиграл очень много. Наедине с ней в их круглой комнате он дергался от нервной энергии и дрожал в промокшем плаще.

От него разило мокрой шерстью, мокрой кожей седла, мокрым конем.

Огонь, который развел хромой сторож, в ожидании почти догорел; они вместе старались раздуть его. Фенгон наложил слишком много поленьев, слишком плотно друг к другу. Когда Геруте была еще девочкой, Родерик как-то вечером рассказал ей, держа сонную после обеда на коленях, что огонь — живое существо и, как любые другие, должен дышать. Их разговор на этот раз будет коротким, и углям в жаровне не хватит времени раскалиться.

Когда переворошенные поленья с трудом разгорелись, Фенгон выпрямился и сказал укоряюще:

— Ты наслаждалась Сконе.

— Женщины любят путешествия. И это грустно, так как нам редко предлагают принимать в них участие.

— Горвендил был приятным спутником.

— Да, Фенгон. Пышные церемонии — его стихия, а его счастье переливалось и в меня.

— Боюсь, те из нас, кого ты оставила позади, Ничем не манили тебя вернуться.

Вопреки своей угрюмой решимости она не могла не улыбнуться мальчишеской обиде этого бородатого мужчины.

— Для причины у меня был третий обещанный тобой подарок.

Судя по твоему настроению, ты предпочтешь приберечь его для другой, которая будет тебе угоднее.

— Ты более чем угодна мне, как думалось, я сумел тебя убедить.

Но сегодня предчувствие подсказывает мне, что моего палача подарком этим не Подкупить.

За амбразурой окна тихий дождик капал с яруса на ярус юной листвы. Никогда еще они не чувствовали себя настолько замкнутыми тут. Фенгон обрел для нее внезапную яркость — запах его мокрой кожи, Умное лицо, осмугленное весенним ветренным солнцем, исходящее от него нервное обиженное тепло. Горвендил и церковные парады Сконе словно остались далеко-далеко за ее спиной. Геруте и раньше замечала, как трудно держать в уме одного мужчину, когда ты с другим.

Она сказала ему небрежно:

— Все смертные поднимаются по ступенькам виселицы, но только Богу известно, сколько их остается до помоста. Твое предчувствие определяет меня очень дурно. Лучше назови меня твоей спасительницей. Нам равно известна высота падения, нас, возможно, ожидающего. Наложить запрет на эти приватные аудиенции значило бы лишь подкрепить твой мудрый поступок, когда десяток лет назад

ты в последний раз наложил для себя запрет на Данию.

— Тогда мне было еще далеко до пятидесяти, а сейчас мне скоро шестьдесят. Я думал освободиться от твоих чар, но они только окрепли, а я ослабел; Надежд на счастливый случай в моей жизни остается все меньше. Но не щади меня. Королева должна спасти себя, ее прихоть правосудна, ее слово — закон для меня.

Геруте засмеялась — трепетной ненадежности собственных чувств не меньше, чем пеняющей серьезности Фенгона. В намокшем капюшоне он выглядел монахом.

— Хотя быними свой вонючий плащ, — приказала она ему. — Твой последний подарок мне в нем?

— Спрятан у меня на груди и совсем сухой, — сказал он и, сбросив плащ, расстелил перед ней ад кровати длинную женскую тунику, сотканную из переплетающихся волн павлиньих цветов — зеленого, синего, желтого с вкраплением алых и черных пятнышек, из ткани более мягкой, чем облегаемая ею кожа, но уплотненной по воротнику, краям рукавов и подолу рядами крохотных жемчужинок. Ее нити отражали свет, будто граненые.

— В Дании эта ткань большая новинка, — объяснил Фенгон. — Шелк. Нити для него получают от рогатых зеленых червей, которые питаются только тутовыми листьями. Согласно легенде их яйца и семена тутовника персидские монахи некогда тайно умыкнули из Китая в своих посохах, и так они попали в Византию. Кокконы, которые сплетают черви, чтобы преобразиться в маленьких слепых бабочек, живущих лишь несколько дней, долго кипятят, а затем их распутывают детские пальчики, а затем старухи прядут из паутинок нити, а из них, в свою очередь, ткуются ткани в узорах таких же чудесных, как этот перед тобой, по образу переливающихся драгоценными камнями райских куц.

Геруте прикоснулась к мерцающей ткани, и это прикосновение сгубило ее.

— Мне следует ее надеть, — сказала она,

— Но только чтобы не увидел твой муж. Ведь он сразу поймет, что это не северное изделие.

— Мне следует надеть ее сейчас, чтобы мог полюбоваться тот, кто дарит. Встань вон там!

Ее удивил собственный властный тон. Она достигла вершины самозабвения. За окном дождь сменился ливнем, и в комнате стало бы совсем темно, если бы не трепещущие отблески ожившего огня. Его жар обволокло кожу Геруте, едва она сбросила собственный промокший плащ, и сюрко без рукавов, и длинную простую тунику со струящимися рукавами, и белую котту под ней, оставшись только в полотняной камизе, и ее пробрала дрожь. Мелкие брызги от дождевых капель, дробившихся на подоконнике полуоткрытого окна у нее за спиной, кололи ее обнаженную кожу. Жар огня на руках и плечах ощущался ангельским тонким панцирем. Вновь ей припомнилось что-то из дальнего уголка ее жизни — воспоминание жены, чуточку отдающее унижением. Византийская туника, жесткая там, где ее украшали ряды жемчужинок, обволокла ее голову на шелестящий миг, в котором стук дождя по черепице снаружи слился с грохотом крови у нее в ушах. Затем, когда ее голова освободилась для воздуха и света, она выпрямилась в великолепном чехле из шелка, такого негнувшегося и упругого одновременно, такого кристального и струящегося.

Павлиньи цвета переливались из зеленого в синий и снова в зеленый

при каждом ее движении: каким-то образом шелк менял тона, как их меняют перья. Она подняла руки, чтобы расправить широкие крылья рукавов, и, продолжая это движение, вытащила из зашпиленных кос бронзовые булавки — заколки достаточно длинные, чтобы достигнуть сердца мужчины между его ребер. Дождь снаружи, жар у нее за спиной, шелк на ее коже отдали ее во власть природы, не знающей ни греха, ни отступления.

— Я выгляжу так, как ты представлял себе?

— Тысячи раз я верил, что воображаю верно. Но я ошибался. Есть реальности, недоступные нашему воображению.

— В мои годы я чересчур располнела для нее, и она выглядит не так красиво, как на одной из твоих костлявых византийских блудниц? Он не ответил на ее колкость. Казалось, взгляд на нее и правда лишил Фенгона способности соображать.

— Почему ты стоишь так далеко?

Он судорожно шагнул вперед, очнувшись от зачарованного созерцания.

— Так приказала ты. Ты была сурова со мной.

— Это было до того, как ты облек меня в наряд средиземноморской шлюхи. Смотри, у меня черные волосы. У меня смуглая кожа. — Лицо у нее пылало: его ошеломленный взгляд был жгучим пламенем. Его тело, более короткое и компактное, чем у ее мужа, излучало упоенную беспомощность, руки вытянулись и изогнулись, будто несли огромную тяжесть.

— Подойди же, мой брат, — сказала она. — Ты можешь раздеть то, что одел.

Изогнутыми руками он снял льнущую к ее телу туннику, а вместе с ней и камизу, завязки которой не были завязаны. Геруте вжалась розовой спелостью в шершавость грубой одежды Фенгона. На его рубахе для верховой езды были кожаные наплечники под кольчугу. Она вдохнула пропитанный дождем запах убитых животных.

— Защити меня, — прошептала она, крепко прильнув к нему, словно пытаясь спрятаться, а ее губы искали просвет в его щетинистой мокрой бороде.

После она играла с длинными бронзовыми булавками — заколками для ее волос, и прижала одну к его голой груди, когда он вытянулся рядом с ней в кровати. Острием другой она вдавила белую кожу между своими тяжелыми грудями.

— Мы могли бы кончить все сейчас же, — предложила она, а ее расширенные, разнеженные любовью глаза лукаво созерцали эту возможность.

Расслабленный Фенгон обдумал ее предложение. Такое дальнейшее и предельное расслабление недурно увенчало бы его победу. Он мягко забрал заколки из ее пальцев, ущипнул кожу у нее под подбородком и взвесил на ладони одну теплую грудь.

— Боюсь, в наших характерах слишком много от наших отцов, — сказал он, — чтобы мы позволили миру одержать столь легкую победу.

Она чувствовала, что это произойдет лишь однажды, это развертывание ее натуры, и потому она в упоении следила за ним, будто сразу была и рассказчицей и героиней, врачом и больным. В течение S часов украденной близости Фенгон показывали в белом зеркале своей белой, мохнатой и снабженной острием плоти ту натуру,

которая таилась в ее внутренних расселинах и сорок семь лет спала непробудным сном. Все ее нечистые места ожили и стали чистыми. Разве не несла она в своих жилах воинственную кровь Родерика и его отца Готера, победителя Гимона, который предал Геваре и чье живое тело Готер сжег в отмщение? Мятаж таился в ней, и бесшабашность, и предательство — и все они вырвались наружу в поту и удовлетворении адюльтерных совокуплений.

Они с Фенгоном пользовались любыми матрасами, какие оказывались под рукой, порой не в силах дотерпеть до ширм поддельного двора, который создали для себя в охотничьем домике Корамбиса: травянистой полянкой среди папоротника менее чем в лиге от эльсинорского рва или каменной нишей в безлюдии галереи, где задранные юбки и спущенные штаны открывали достаточный доступ эмиссарам их душ, этим нижним частям, столь богатым ангельскими ощущениями. Она легла бы с ним в теплую грязь, даже в грязь хлева, лишь бы еще раз познать экстаз, который обретала в его звериной любви. Он не всегда был нежен, но и не всегда груб: он все еще прибегал к маленьким сюрпризам искусства соблазнения, произвольно, как ей было необходимо чувствовать, чтобы дать толчок великому слагаемому собственной натуры, неподконтрольному ее воле.

В отличие от Горвендила Фенгон в недрах плоти был как дома. Его душа не метала взгляды в поисках выхода в более безопасное, незатворенное помещение, освещаемое будничными разговорами и церковными свечами. Закончив, король торопился убраться в собственный укромный покой — не терпящее природы благочестие, впитанное им в Ютландии, охолостило его. Утехи любви, насильственные и презрительные, когда были частью его пиратских набегов, в сознании у него граничили с владениями Дьявола. А Фенгон только рад был медлить в сладострастном сплетении, вновь и вновь рассказывая Геруте языком и глазами и опять отвердевшим рогом всю правду о ней, какую только она могла вместить. Он открыл в ней не только воина, но и рабыню. Прикажи он ей лечь в свиной навоз, она бы сжала ягодицы покрепче и наслаждалась бы таким поруганием. По ночам, заново переживая дневные объятия, она лизала подушку в жажде снова быть со своим любовником — ее избавителем от мертвящей пустоты законопослушной жизни, ее самой, вывернутой наизнанку в виде мужчины, медведя и мальчишки. При дворе ее отца не нашлось бы большей распутницы, чем она.

Геруте обнаружила, что наслаждается даже обманом, бесстыжей двуличностью, отдаваясь двум мужчинам. Горвендил был доволен тем, как быстро возбуждал ее теперь. Она пыталась прятать ласки и приемы, которым научилась от его брата. Уже многие годы муж обращался к ней все реже и реже — не чаще одного раза от новолуния до новолуния, но теперь, возбужденный неведомо для себя чем-то за пределами его горизонта, он начал более часто откликаться на безмолвный позыв ее тела. Фенгон ощущал, что она была с мужем, хотя Геруте упорно это отрицала.

— От тебя разит Молотом, — обвинял он. — Ты пришла ко мне уже удовлетворенная.

— Меня удовлетворяешь только ты, Фенгон. Только ты знаешь меня. Только ты знаешь путь к сердцу моего сердца, к потаенному приюту моей страсти. А то — всего лишь исполнение долга, долга покорности, возлагаемого на жену узкогубыми священниками, для

которых мы всего лишь жалкие грешные животные.

— Но ты же покоряешься. Как последняя рабыня, ты раскрываешь ноги для омерзительного посетителя. Мне надо бы избить тебя. Выколотить из твоего нутра белесую слизь, выпрыснувшуюся из этого члена.

— Можешь терзать меня словами и взглядом, — предупредила она. — Но не оставляй следов у меня на теле.

Его глаза сверкнули, постигая ее намек.

— Чтобы твой тупой и чванный муж, убажываясь всякими вольностями с тобой, не обнаружил следов его обезумевшего соперника, лиловых синяков, оставленных дьявольской рукой. Его верхняя туба вздернулась в рычании. Ей хотелось расцеловать его за нанесение себе такой тяжелой раны. Но вместо этого она пролила на нее целительный бальзам.

— Он не убажается, Фенгон. Он осуществляет свои права — когда осуществляет — слишком деловито, слишком тупо, слишком мокро, чтобы выбить хотя бы одну искру.

Это не совсем соответствовало истине в ее нынешнем двуличии. Она ощущала сладкую дрожь обмана между своими ногами, где соперничали двое мужчин, один помазанник Божий в глазах мира, другой ее собственный помазанник. Она знала их обоих, но ни тот ни другой не знал ее до конца.

— Для женщины, — продолжала она в том же рассудительно-успокаивающем тоне, — страсть принадлежит больше духу, нежели телу. Многие жены волей-неволей открывают объятия мужчине, которого ненавидят.

— Ты его ненавидишь? Скажи мне, что да. Теперь, когда он молил ее солгать, она не могла.

Его удрученный взгляд был таким жаждущим, что ей следовало быть честной.

— Иногда почти, но не совсем. Горвендил грешил против меня не столько действием, сколько бездействием, причиняя несильную, тупую, но непреходящую боль. Сначала он видел во мне желанную собственность, а к своей собственности он относится с похвальной заботливостью. Но да, за то, что он отнял у меня дни моей жизни и подталкивал меня стать окостенелой королевской собственностью, за это я его ненавижу. Ты, пробудив во мне смелость полюбить, заставил меня понять, как плохо со мной обошлись. Но так уж устроен мир. Он мой господин. Вне Эльсинора я ничто, даже меньше самой бесправной крепостной, у которой хотя бы есть ее природная выносливость, ее голодные отродья, ее грядка фасоли, ее соломенная подстилка. Если Геруте надеялась, что Фенгон опровергнет ее слова о том, что она ничто вне стен Эльсинора, ее ждало разочарование. Она ощутила, как пружина желания в нем ослабела, сменилась более практичными расчетами. Его карие глаза потемнели (расширились его черные зрачки), заглядывая в пещеру будущего.

— Что мы будем делать, — спросил он, и каждая песчинка в его мягком голосе была четкой, — если он узнает про нас?

Они были в укромности круглой башенной комнаты в охотничьем домике Корамбиса. Они разделись и лежали в кровати под балдахинном, будто на плотике посреди теплого моря. День в самом разгаре лета был заполнен гудением насекомых и влажностью растений, устремляющихся и пробирающихся в каждое свободное местечко. Плющ за окном пытался засунуть внутрь свои листья-сердечки.

Деревья повсюду вокруг и поверхность озера блестели от миллиона мельчайших движений — море органичных проявлений природы, в котором покачивались любовники. Но холодящая тень предчувствия упала на их тела; их восторги остыли.

— Каким образом он может узнать? — спросила она.

— Каким образом может он не узнать рано или поздно? — спросил он. — Четверо за этой стеной знают, как и Корамбис, наш отсутствующий гостеприимный хозяин, и те в Эльсиноре, кто замечает твои постоянные отлучки, и те крестьяне, которые кланяются тебе, когда ты проезжаешь мимо, и старички в хижине, которые оберегают наш приют. Все они держат правду о нас в заложницах.

Она закрыла глаза. Он накренил ее, сталкивал с плотика, заставлял ее думать об их бездонной обреченности.

— Но что заставит кого-нибудь из них донести на нас Горвендилу?

— Личная выгода, или допрос под пыткой, или невинная радость, которую каждая душа извлекает из чужих несчастий. Быть может, праведный гнев, что власть имущие ни во что не ставят заповеди, связывающие всех бедняков в мире.

— Я была неосторожна, — признала королева, пытаюсь разобраться в себе. Она ощущала, как ее нагое тело уплывает от ее головы: ее груди, две бело-розовые пышные розы, ее женское, припухшее и утомленное под кровлей завитков, пальцы на ее босых ногах — далекие слушатели. — Я не знала, как велико мое возмущение. Тридцать лет среди ограничений высокого сана придали остроту моим плотским желанием и дали им волю без единой мысли о последствиях. А если и была мысль, то она исчезла перед привычной верой королевы в ее привилегии. Я была беспечно пылкой и эгоистичной, когда у нас с тобой началось, а теперь отпустить тебя означает смерть.

— Возлюбленная, оставить меня тоже может означать смерть, — предостерег Фенгон. — Amor, mors [9]. — Он погладил ее по щекочущим волосам и для наглядности подергал прядку. — Судьба дарит моряку некоторую слабину, но затем канат натягивается. Кредитор дает должнику отсрочку, но затем взыскивает долг. Все эти летние месяцы мы нежились в блаженном вневременье. Однако если некоторые невидимы, так как слишком малы, то самая наша величина и близость к королю могут сделать нас неприметными. Его желание увидеть, по-моему, не так уж сильно, ведь, увидев, он будет обязан действовать. Обязанность, к исполнению которой, если я знаю моего брата, он приступит с осторожностью. Волнения в Дании могут ведь обернуться его собственным низложением. Народ не чопорен в своих симпатиях. Для многих престол — это ты, да и у меня есть мои приверженцы в Ютландии и кое-какие высокопоставленные друзья за границей.

Ее рука вернулась к небольшой экспедиции.

— Любимый, взгляни — твой маленький посланец к нижним частям совсем утратил желание твоей усердной крепостной.

Фенгон посмотрел туда, где отсутствовали штаны.

— Мысли о плахе и правда имеют съезживающее воздействие. —

Он виновато пощекотал мягкую двойную пухлость под ее подбородком. — Боюсь, я рыбак, потерявший свой крючок, — сказал он, — и ты ускользнешь, вернешься в привычные воды.

— Нет, мой господин. Теперь я часть тебя. И ускользать мы

должны вместе. — И правда, подобно большой рыбе, она скользнула по постели, чтобы воскресить его мужское начало византийским приемом, которому он ее обучил. Ей нравилось это — это слепое сосание, это копошение у корня природы. Она сглотнула кашель и подергала его за мошонку. Нужды думать не было ни малейшей. Пусть! Его ответное ищущее набухание изгнало из ее головы последние крупницы мысли. Они будут жиреть наподобие личинок, потом полетят.

— *Il tempo fa tardi*, — сказал Фенгон, когда наконец вышел к Сандро. — *Andiamo presto* [10].

— *Il giorno va bene per Lei?* [11]

Слуга почувствовал надвигающуюся опасность.

— *Si, si. Era un giorno perfetto. E per te?* [12] Хотя Герда сидела невозмутимо у чисто выметенного очага, ее лицо розовело, разгладившись, чепец как будто чуть сбился на сторону. Ее губы выглядели воспаленными, глаза влажными.

— *Molte bene, grazie, signore. Crepi il lupo* [13]. Тепло этого лета простерлось и на осень. Октябрьские дни, золотые в уборе буковых и каштановых лесов, согревались солнцем в своей середине, на заре же трава в яблоневом саду посверкивала инеем, а лужи во дворе — хрупким ледком. Каждый вечер отщипывал несколько минут от протяженности дня, а к полночи потрескивал мороз, принося с собой первые северные сияния. Они существовали вне масштабов в усеянном звездами небе, скроенные по своей собственной особой мерке — колышущиеся длинные занавесы; ни к чему не подвешенные, ничего, разделяясь, не открывающие — разве что чуть более тусклые складки самих себя, — переливаясь неуловимыми павлиньими цветами, лиловым, бирюзовым — дальняя музыка фосфоресцирования. Их вертикальные складки волнисто колыхались, будто маня к себе, они угасали и вновь вспыхивали.

Король оставался в Эльсиноре дольше, чем летом, когда на недели отправлялся объезжать свои владения и навещать правителей областей, в свою очередь, занимавших свои посты из-за необходимости надзирать (или наблюдать за теми, кто надзирал) зреющие поля, пасущиеся стада, изобилующие дичью леса, собранные тяжким трудом урожаи и законные налоги на них, которых крепостные и свободные крестьяне неустанно тщились не платить. По близорукости они не понимали, что без королевских налогов не будет королевского войска и наемных отрядов, чтобы защищать их от норвежцев и померанцев и еще многих-многих других, кто хочет завоевать их земли и всех датчан обратить в рабов. Не будет ни замков, чтобы давать им убежище во время нашествий, ни мостов, чтобы переходить реку по дороге на рынок или на ярмарку с ее развлечениями и зрелищами — на ярмарку, где, по мнению короля, мужчины и женщины вместо того, чтобы усердно трудиться, тратили целые дни и здоровье, глаза на всяких уродов и шарлатанов в непристойном смешении, в пьянстве и обжорстве, отчего умный становился глупым, а глупый становился еще глупее. Церковь непредусмотрительно умножала святых, а с ними и дни святых и поводы для ярмарок и всяческих дурачеств. Вскоре не останется ни рабочих дней, ни общих целей. Без обеспеченной деньгами центральной власти каждая деревушка оставалась бы островом и не было бы ни крестовых походов, ни турниров благородных рыцарей, ни объединительных войн.

Пока король Горвендил разъезжал, обеспечивая, чтобы от богатств

страны уделялись крохи, положенные королевской казне, Геруте и Фенгон, ничем не стесненные, проводили вместе долгие дни, не только пресыщая свое вожделение, которое нисколько не уменьшалось, но возрастало по мере того, как интимная близость и частые повторения расширяли изобретательность их ласк, но и удовлетворяя невинное любопытство, с каким одурманенные любовью впитывают самые обычные житейские мелочи, которые частица за частицей складываются в самую сущность любимого и любимой. Особенно Фенгон жаждал завладеть ее детством и юностью, добраться до образа своей полнотелой любовницы как крепенькой девочки, находящей свой доброжелательный, широколобый, серьезный путь по хаосу дворца Родерика в сиротливые годы после смерти матери. Он обожал эту малышку с ее никого не винящими серо-зелеными глазами и милой темной щелочкой между передними зубами, эту розовую малышку в парчовой шапочке, закрывающей ей уши и волосы, каскадом ниспадающие из-под нижнего края, малышку, заброшенную, хотя и заласканную, передаваемую с колен одной фаворитки на колени другой, а затем нетерпеливо возвращаемую под опеку няньки, дряхлой Марлгар с корявыми руками, которая уносила ее в высокий безопасный солярий, высоко-высоко над суетой взрослых, в кроватку с дощатыми боковинами к трем тряпичным куклам, чьи три имени она сорок лет спустя все еще помнила и повторяла с такой любовью, что снова видела глиняные бусины их глаз, собранные в пипочку носы и улыбки-стежки, пока рассказывала ему про все это, и не один раз.

— Ты чувствовала себя одинокой? — спросил он.

— По-моему, нет, — ответила она, старательно оглядываясь на прошлое, будто высматривая свое отражение в глубоком колодце. — У меня не было ни братьев, ни сестер, но в Эльсиноре жили дети моего возраста, дети служителей. Мы играли в сарацинов и рыцарей и болтали кузнечиками надо рвом, подманивая золотистых карпов. Марлгар сопровождала меня повсюду, но редко отказывала мне в той или иной игре, том или ином удовольствии. Она происходила с одного из островков к северу от Лолланда, где детям позволяют резвиться на воле. Мой отец мог сердито ворчать, а его пьяные собутыльники вести себя непристойно, однако я знала, что мне ничего не угрожает. Я рано поняла, что я принцесса, и гадала, какого принца я полюблю и стану его женой; я часто думала о нем. И вот он здесь, рядом со мной.

— Сердце мое, я ведь не сказочный принц, которого вообразила девочка. Я темная и беспутная тень короля. Твоя маленькая принцесса... она знала, что о ней всегда будут заботиться и без ее на то желанья?

— Да, и мне нечего было желать, кроме как быть хорошей и не жаловаться.

— И ты все еще остаешься такой, мягкой и милой.

— Пожалуй. Это тебя раздражает?

— Это меня обвораживает и немного страшит.

— Не страшись, любовь моя. Все живущее должно умереть.

Тратить эту жизнь понапрасну в тревожных заботах о жизни грядущей или в опасениях будущих бед — это ведь тоже грех. Рождение подчиняет нас естественной заповеди: любить каждый день и с ним все, что он приносит.

— Геруте! — воскликнул он, как всегда наслаждаясь тремя печальными слогами ее имени, которые в его уме сливались с ее плотью. — Твоя мудрая прелесть или прелестная мудрость... какими

нереальными представляются тебе угрожающие нам опасности!

— Нет, они представляются мне вполне реальными, но я решила пренебречь ими. Женщина, как и мужчина, должна уметь сделать свой выбор. — Она погладила его плечо, гладкое, как сталь доспеха, если не считать сизого шрама, памяти о турецком ятагане. Кончиком пальца она провела по шраму до границы медвежьей шерсти на его груди. — Муки, которые я перенесла, рожая Хамблета, сделали жизнь и королевский сан моими должниками. Возможно, я наконец решила взыскать этот долг. Мой отец и мой будущий муж превратили меня в предмет сделки, а ты вернул мне мою истинную цену, цену той маленькой девочки, которой ты так поздно отдал свое обожание.

Фенгон застонал:

— Твое доверие меня иногда сокрушает. Свет скажет, что я был низок — низок, как визжащий хорек, который мчится туда, куда его направляет похоть.

Она улыбнулась:

— Ты был сдержан и позволил пройти стольким годам, сколько было возможно. Я была готова принять тебя на моей свадьбе. Ты же прислал взамен себя пустое блюдо. А что до света, так существуют правда внутренняя и правда наружная. Наша правда — внутренняя. Я убедилась в твоей надежности и верности мне. И нас нельзя уничтожить, если только один из нас не позволит другому уйти. Он поцеловал ее руки, совсем нагие, когда она встречалась с ним, обремененные тяжелыми кольцами, когда она сидела на троне рядом с Горвендилом.

Итак, в Эльсиноре, пока зима приближалась следом за золотыми днями снятия урожая, король мог обратиться к делам домашним. И в роковой день, в день обнаженного косоного света, названный Днем Всех Святых, он призвал брата на аудиенцию с глаза на глаз.

— Моих ушей достигли слухи, — начал король, — что ты навещаешь Эльсинор чаще, чем мы встречаемся как братья и боевые товарищи.

— У тебя для твоих забот есть целое королевство, а у меня только мои захирелые поместья здесь, в нашем родном краю. Но пока не собирается совет знати и не созывается тинг, я не хочу навязываться с советами.

— Твои советы и открытая поддержка много значат для престола.

После принца ты стоишь к нему ближе всех...

— Но принц, по общим отзывам, здоров и, если оставить в стороне его капризный нрав, очень одарен.

— Одарен-то одарен, но скандально отсутствует.

— Хамблет пополняет свое образование в державе императора, нашего августейшего союзника, дабы быть более готовым управлять, когда настанет время. Но ты не стар, а в роду нашего отца все отличались завидным здоровьем.

— Увы, не всякий благородный датчанин умирает от дряхлости.

Некоторых торопят. Я часто чувствую боль в спине и вялость, но не важно. А кто тебе сказал, что принц одарен?

Фенгон колебался лишь миг и тут же решил, что честный ответ ничем не опасен.

— Его мать и твой камерарий с большой любовью говорят о его благородных способностях.

— Естественная любовь и расчетливая лесть — вот основа их мнения. Мой сын для меня тайна.

— Хотя у меня нет признанных детей, мне кажется, брат, что между отцом и сыновьями всегда так. Мир сына отличен от мира отца хотя бы тем, что в нем властно присутствует отец. То же можно сказать о старших и младших братьях. Ты ясно видишь свои цели, а я между мной и ими всегда вижу перед собой тебя.

Широкое лицо Горвендила с чопорным маленьким ртом на краткий момент отразило попытку разобраться в этих выкладках, ища в них скрытую дерзость. Но его заботило другое, и он не дал себя отвлечь.

— Королева... ты часто с ней беседуешь.

Фенгон, насторожившись, нарочно принял еще более легкий тон.

Он ощущал себя странно невесомым, будто все его чувства встали на цыпочки.

— Мои рассказы о дальних странах немного скрашивают однообразие ее дней. Ее натуре свойственен интерес к приключениям, но королевские обязанности заглушают его.

— Летом она ездила со мной в Сконе.

— И наслаждалась путешествием по-королевски. Она говорила, что тобой восхищались и ты заслуживал этого восхищения.

— Она много говорит обо мне?

— Почти только о тебе.

— И в каком духе?

— Милый мой старший *frater*, ты давишь на меня, будто я соучастник твоего брака. Весной после своего возвращения она с обожанием говорила о твоей образцовой добродетельности и тяжело завоеванной власти, о твоей любви к своим подданным, на которую они, естественно, отвечают такой же любовью.

— По ее мнению, с моей стороны глупо любить Данию так ревностно. Она считает, что я слишком близко принимаю к сердцу старинное понятие, что добродетель должна истекать от Бога через короля, иначе народ будет страдать и опускаться все ниже, пока все взаимные обязательства не будут отвергнуты, и останется только животный эгоизм или дикарская анархия. Король — это солнце, согревающее страну. Если что-то в нем не так, его лучи искривляются. Урожай гибнет на корню, а зерно, которое удастся засыпать в закрома, поражает гниль.

Столь грандиозные образы вызвали у Фенгона искушение оборониться от них улыбкой, спасая свой разум, отражая слова, разбухшие от самовосхваляющих суеверий. Королевская власть свела Горвендила с ума. А Молот нанес новый удар:

— Я часто недоумеваю, брат, почему ты не женишься?

— Жениться? Мне? Темой нашей встречи как будто становится брак?

— Мы еще далеко нашу тему не исчерпали. Но наберись терпения и побереги свои улыбки. Лена с Оркнейских островов, которую ты взял в жены, когда мой брак указал тебе дорогу, и которую я видел и счел весьма удачной спутницей для такого мечтателя и фантазера, как ты; умерла безвременно. И десятилетиями с тех пор ты, полный сил, изъездил континент, где подходящих невест хоть отбавляй, но пренебрег своим ясным долгом перед нашим родом и Данией. Ты не сыграл своей роли в расширении наших связей. Вот и теперь дочь шотландского короля, как сообщают мне послы, пышет здоровьем, умна и аппетитно молода: крепкое звено между нашими дворами зажало бы Англию в щипцы, словно орех.

Фенгон все-таки неосмотрительно засмеялся:

— Я был бы счастлив увидеть Англию в щипцах, но только не в таких, у которых одной ручкой будет моя жена, согласно твоему требованию. Я не желаю никакой жены. У меня уже не тот возраст. Я старый воин, привыкший к дружеским мужским запахам.

— Ты не желаешь жены? Как так? Или ты извращен?

— Не более, чем ты, брат. И даже менее, поскольку не сделал себя королем, взяв девушку против ее воли.

— Против воли? Геруте тебе так сказала?

— Нет. Я сам пришел к такому выводу. Еще тогда, и избежал присутствия на твоём торжестве, таком же зверином, каким было изнасилование Селы, перед тем как ты ее убил.

— Села была бичом наших берегов, — невозмутимо сказал Горвендил, настороженно глядя удлинёнными глазами. Белкам королевских глаз была присуща рыбья стеклянность, гармонизировавшая с лягушачеством его беззубого, неумолимо сжатого рта. Фенгону не следовало выдавать свой гнев, защищая девочку-невесту, давно исчезнувшую в прошлом, да к тому же она, возможно, дала свое согласие более охотно, чем призналась своему любовнику. Его рыцарственность предала его. Когда он ринулся атаковать, равновесие между братьями нарушилось не в его пользу.

— Быть может, ты не желаешь жены, — тяжело сказал Горвендил, угрюмо уверенный в своей позиции, — потому что у тебя уже есть вроде как жена — жена другого мужчины. Ничего не говори, Фенгон. Придумывай сказочку вместе со мной. У хорошего и верного короля есть странствующий брат, который наконец является в его замок, устав от бесплодного рыскания по свету, и в своем озлобленном бездельи соблазняет королеву при пособничестве коварного, впавшего в детство камерария. Месяц за месяцем прелюбодей и прелюбодейка удовлетворяли свою похоть, которой нет названия, в тайном убежище, которое предоставил им сводник-камерарий из враждебности к королю, зная, что тот намерен отнять у него его доходный пост. Я спрашиваю тебя, как моего любящего брата и члена совета моей знати: как должен поступить этот столь тяжко оскорбленный король, блюститель Господних заповедей и защитник своего дома?

Фенгон ощущал сверхъестественный подъем, каждый его нерв омывался успокаивающими, очищающими водами кризиса. Под ним разверзлась бездна, но была она не глубже его собственной смерти, которую все равно предстояло претерпеть. Точно в рукопашном бою с турком или сарацином, эльзасским наемником или пизанцем, он мгновенно осознал все аспекты ситуации, и многоцветный мир сохранил только несколько первично четких тонов: белый цвет жизни, красный цвет крови и контрудара, черный цвет смерти. Фенгон отозвался:

— Этому королю следует сперва подвергнуть пытке наушников, которые явились к нему с такой нелепой и неправдоподобной историей, чтобы убедить их взять назад свой навет и сознаться во лжи.

— Моего самого осведомленного наушника нельзя пытать, потому что его здесь нет. Он вернулся к себе в Калабрию. Наши ледяные осенние ночи напугали его предзнаменованием еще более студеной зимы, и он предал тебя за безопасное возвращение в родной солнечный край.

Фенгон молчал, но чувствовал, что его побагровевшее лицо говорит за него. Много лет дипломатии породили в нем чрезмерную

уверенность в своем обаянии в способности внушать верность, особенно юношам и чужестранцам. Языковые ограничения создали фальшивую близость, фальшивое дно в душе, которая, он думал, открыта ему. Он бы доверил Сандро свою жизнь. И доверил! *Credi il lupo!* [14]

Горвендил начал расхаживать по аудиенц-залу, попирая ногами шкуры волков и медведей, упиваясь своей властью над положением вещей, давая волю мстительному пренебрежению.

— Не вини одного Сандро: много глаз видело, много языков болтало. Даже мои собственные инстинкты, которые, я знаю, по твоему с Геруте мнению, совсем затупились под тяжестью короны, предупреждали меня, что чего-то недостает, вернее, что-то прибавилось. Она вела себя со мной по-другому — более несдержанно, словно стараясь искупать менее важными знаками внимания и признания необходимость хранить главный секрет. Она стала — тебе больно это слышать? — более пылкой, а не менее, как предположила бы простая порядочность. Она продолжала тлеть и вдали от огня. Огня вечной гибели, сказали бы нам священники — священники, которые познают плоть по книгам и в багровом свете исповедальни, но не вживе, подобно нам, — как обоюдоострый инструмент, грозу и затишье, питательный родник и погубительницу разума. Геруте не порочна, — продолжал Горвендил, играя с ними, всего лишь марионетками у него в мыслях. — Она не упивается тем, что покрыла позором мою честь, которая едина с честью Дании. Наше брачное ложе все еще для нее свято, пусть она и осквернила его. Ее горе оборачивалось пользой для меня, хотя сначала я не подозревал причины. Было что-то... сказать «прогнившее» слишком грубо... но перезревшее и в ней, и в ее ласках.

«Он хочет, чтобы я заговорил о ней, — вдруг понял Фенгон. — Описал ее словами, столь же бесстыдными, как прелюбодейку, предающуюся разврату, томящуюся сознанием вины, переворачивающуюся с боку на бок, лакомый кусочек в пахучем соусе, сладчайший! Ее ноги раскинуты, открывая ее волосатую адскую дыру... Только так мог Горвендил посредством своего брата владеть ею и в те часы, которые она краля для себя». Оглядываясь на обрызганные солнцем месяцы запретной страсти, Фенгон вспомнил игру отраженного водой света в их круглой комнате и снаружи на озере, и девичий голос Геруте, кокетничающей в восторге от его подарков, и ее зрелое розовое великолепие, прильнувшее к нему, словно ища укрытия в миг капитуляции. «Защити меня!» — умоляла она.

Фенгон все еще молчал и только не спускал глаз с брата, а король рыскал по залу в надменном возбуждении хищника, от которого не спастись. Горвендил понял, что его брат не будет делиться обнаженной добычей и впал в раздражение. Он сардонически упрекнул:

— Ты не предлагаешь мне совета.

— Я не могу быть сразу и обвиняемым и судьей. Однако не забывай, что престолы опрокидываются ими же вызванными сотрясениями. Под твоей властью, как и под любой другой, Дания бурлит из-за замеченных зол и возможных выгод. Тех, кто процветает при установленном порядке, всегда много меньше, чем тех, кто возлагает надежды на новый.

— Ты смеешь читать мне наставления, нарушитель мира моего дома, погубитель чистоты моего брака, подчинивший своей гнусной

похоти, смердящей чужеземными борделями, волю моей добродетельной королевы? Ты всегда уступал мне во всем, Фенгон, — грязная завистливая тень, менее удачливый в состязаниях, менее сильный, менее честный, менее прилежный, менее любимый нашими наставниками-священниками и нашим отцом. Да, я утверждаю это, пусть Горвендил и старался дать нам равные посты в Ютландии, словно в битвах мы совершали равные подвиги, показывали равную смелость и военную сметку.

Фенгон, уязвленный, прикоснулся к округлой рукояти своего меча, отполированной частым употреблением.

— Я был менее жестоким, чем ты, — сказал он, — менее усердным разорителем беззащитных норвежских селений на побережье, но стою на том, что ни в находчивости, ни в храбрости тебе не уступал.

Удлиненные глаза Горвендила заметили его движение.

— Ты берешься за меч? Хочешь напасть на меня? Так давай же, брат, вот моя грудь, укрытая только бархатом. Ты не можешь ранить меня страшнее, чем уже ранил, околдовав и пронзив мою столь добродетельную на вид королеву!

«Его старый прием с обнажением груди, — думал Фенгон. — За занавесами могут прятаться лучники. Или они притаились в нишах, готовясь превратить меня в дикобраза, стоит мне сделать шаг к его величию».

— Ты всегда был гнусен сердцем, — задумчивым тоном воспоминаний продолжал король, когда ладонь его брата соскользнула с гладкой рукояти. — Неизбежная зависть ко мне толкала тебя на мрачность, на противоестественное копание в себе и фантазии, в которые ты старался запутывать других, принадлежащих к более слабому, более впечатлительному полу. Ты превращал женщин в идолов и тем самым искал унижить их, зная, что твои восторги поддельны, будучи порождением грязных трусливых лихорадок. Бедная Лена, выросшая среди этих безлесых островных пустошей, усаженных древними могильными камнями, была, благодаря собственной оторванности от реальности, самой подходящей жертвой для твоего порабащивающего фантазирования. О ее смерти ходили самые черные слухи — о поруганиях, которым ты подвергал ее невинность, но я им никогда не верил. Я верил, что ты любил Лену, насколько ты вообще способен любить кого-то, кроме исчадий своего прокаженного воображения. Почему ты ненавидел меня, Фенгон? У нас были одни родители, одно суровое воспитание. Я же обрел свое превосходство назло тебе. Ты мог бы греться в лучах моей славы рядом со мной, почти равный мне честью, а не мараить отдаленнейшие пределы христианского мира своими извращенными томлениями и гордостью экспатрида, проматывая свою жизнь среди еретиков и сибаритов.

— Я не питаю к тебе ни малейшей ненависти, — сказал Фенгон. — Как мир ни старается раздуть тебя, мне ты кажешься странно ничтожным. И сейчас, во время этой нашей встречи, — болтливый и утомительно скучный. То, что ты, по твоему убеждению, знаешь, отнюдь не правда, но поступай исходя из нее, как знаешь. Как ты ответишь на свой вопрос, касающийся гипотетической сказочки?

— Смерть предателю камерарию для начала, — объявил Горвендил.

— Его седины и долгие годы верной службы взывают к

милосердию.

— Они взывают против милосердия, усугубляя его преступление. Зло, долго замышляемое, становится злом вдвойне. Смерть под пыткой и четвертование. Ну а злодей брат...

— Который подавлял тысячи злодейских мыслей...

— ...заслуживает уничтожения, но ему будет даровано вечное изгнание. Казнь того, чья кровь одна с кровью короля, может внести смуту в простые умы тех, кто верит в нашу божественность. Изгнание более действенно, чем казнь, обрекая преступника на более длительный срок сожалениям и зависти; его даже можно счесть милосердием по отношению к тому, кто сам обрекал себя долгой ссылкой и, подобно Сатане, предпочитал укрыться в утробе земли, лишь бы не терзать свои глаза созерцанием сияющего блеска своего победителя и законного господина.

— Фи! А королева?

Горвендил уловил напряжение в голосе брата и улыбнулся. Этот безгубый рот, так часто сомкнутый в хладнокровном бесповоротном решении, теперь расползся, приподнял щеки, затряс завитками скудной бороды.

— Королева, жалкий любострастник, принадлежит королю, чтобы он поступал с ней, как ему заблагорассудится. Когда в туманах правили наши праотцы, сажание на кол считалось достойной карой за преступления, такие, как ее. Йормунрект, повествуют барды, приказал прибить Сванхидр кольями к земле и затоптать копытами диких коней за ее предполагаемую измену.

— Ее обвинили ложно, и началась смута, повествует легенда дальше. Покарай взамен меня, сожги заживо или покарай себя. Ведь твои пренебрежение и презрительное равнодушие понудили нежную женскую душу Геруте искать утешения.

— Королева — моя, как бы гнусно ты ни использовал ее и как бы ты ни чернил брак, о котором она говорила лишь то, что льстило тебе и извиняло ее мерзкое кровосмесительное падение. Смирись с ее потерей, Фенгон, как и с потерей своей доброй славы. Во имя истины и порядка вы оба должны понести кару. Я позабочусь, чтобы твои поместья в Ютландии были конфискованы, а всякие права на королевские прерогативы уничтожены.

— Прерогативы, которые по праву наследства принадлежат Геруте больше, чем тебе, — перебил Фенгон.

Горвендил отмахнулся от этого аргумента.

— Ты будешь скитаться нищим бродягой, Фенгон, а клеймо стыда и коварства, каким наградят тебя мои наемные языки, превратят твоего будущего убийцу в героя. Ты будешь ниже грязи, потому что у грязи нет имени, чтобы его опозорить. Гори, если уж хочешь гореть, от мыслей, что прекрасная Геруте все еще жена мне, как бы ни терзали и ни удручали ее те шипы раскаяния у нее в груди, которые помогут ее изъязвленной душе петь на Небесах по завершении всех наших ничтожных испытаний.

Его мысли продвинулись дальше. Фенгон чувствовал, что в удлинённых ледяных глазах брата он не более чем комар, которого прихлопнут... уже прихлопнули, и он уже всего лишь крохотный мазок на этой странице истории. Горвендил снисходительно объяснил ему:

— Былым хитроумным способам отмщения в нашей христианской эре места нет; ее судьба останется той же, какой

оставалась тридцать лет: быть моей неизменной супругой. Ты ошибаешься во мне, мой кровосмесительный завистливый брат, если думаешь, будто я уступаю тебе даже в любви к Геруте. Но моя любовь так же тверда и чиста, как твоя распутна и лишена корней. Хотя ты низок, опоры снизу у тебя нет, моя же широка, как вся Дания. Ха! Горвендил одержал верх почти с таким же торжеством, с каким отрубил ступню короля Коллера. Фенгон ощущал, как его кровь неудержимо хлещет из раны. Быть разлученным с Геруте... После какого-то срока горя и раскаяния ее податливая добросердечная натура вновь найдет убежище в муже, а ее слабая плоть и кроткий разумный дух вернут ему все, что принадлежало ее любовнику. Этот царственный мясник разделал его до самой сердцевины — до беспомощного бунта. Пока. Выпотрошенный так, что не осталось и тени надежды, Фенгон почувствовал, как его душа перешла от свойственной людям смешанности к твердокаменности воинства Дьявола, зачерненная слепой клятвой не сдаваться. Он отрывисто поклонился:

— Так я жду твоего решения.

— Подожди в молчании. Государственные заботы, прием польского посольства призывают меня сейчас к более широким и более достойным делам, чем это тройное предательство, которое поистине надрывает мне душу. Я не черпаю ни малейшей радости из мысли, что все мужчины — помои и женщины тоже и что королевские любовь и милости порождают сладострастную неблагодарность.

— Молю тебя, благочестивый мой брат, посади меня на кол, если так тебе угодно, но пощади голову услужливого старика и избавь королеву от публичного позора, оставив придуманные тобой наказания в тайне. Она всегда так невинно гордилась своим положением лелеемой дочери Родерика.

— Только я решаю, о чем оповещать, а о чем нет, и любые твои суждения о королеве — это подлая наглость. Я ведь тоже ее знаю, не забывай. Я поклялся у алтаря лелеять ее. Больше не говори со мной. Я проклинаю тебя, брат, и чудовищную шутку, которую сыграла природа, дав нам появиться на свет из одной утробы.

Прогнанный с позором Фенгон оставил короля в аудиенц-зале, чувствуя, как внутри него все преобразуется — как по ту сторону гнева открываются холодные дали, которые его мысль покрывает с молниеносностью выпадов опытного дуэлянта. Кости сущего обнажились. Геруте более не представлялась ему *la princesse lointaine* [15], или Образом Света, но сокровищем, которое он должен снова отнять, территорией, которую не должен потерять. Однако он по-прежнему не представлял себе, что должен делать, но в любом случае — не останавливаться ни перед чем. Точно запущенный сокол, его ум парил неподвижно, вглядываясь черными, освобожденными от колпачка глазами в каждый клочок земли внизу — расширенный разделением на множество быстро оцениваемых кустов, где могла таиться жизнь.

Выйдя из аудиенц-зала, он увидел, как всколыхнулся занавес возле двери, и не прошел и десяти шагов по пустой аркаде, как рядом с ним оказался хрипло дышащий Корамбис. Старик слышал все и был вне себя от ужаса. Зеленая коническая шляпа исчезла с его головы, и

седые волосы дыбились вокруг лысины, словно разбегаясь в панике. Лихорадочные красные пятна на пергаментных щеках выдавали отчаянное волнение, однако его голос, его главный инструмент, во всей полноте обрел былой тембр, юношески настойчивую дикцию, воскрешенную шоком.

— Он будет сидеть за обедом три часа, — сказал он, словно продолжая стремительный разговор. — Поляки пьют усердно и долго ходят вокруг да около, прежде чем перейти к делу. Он отяжелеет от вина. И не сочтет нужным тотчас же разделаться с нами и с королевой, настолько он убежден в незыблемости своей власти. И, готов спорить, он отправится вздремнуть в яблоневом саду, как обычно. С тех пор как годы начали давать о себе знать, у него вошло в незыблемую привычку предоставлять своим бдительным глазам и мозгу отдых от просьб горожан и придворных, посвящая час, а если удастся, то и два дневному сну с апреля по октябрь и даже в ноябре, которому только что положил начало День Всех Святых, побеждая наступающие холода с помощью мехов, или толстых шерстяных тканей, или колпака плотной вязки на голове, хотя в летние жары этого не требуется...

— Да-да. Что дальше? Меньше говорено, больше сказано, Корамбис. Здесь нас могут увидеть и подслушать.

— ...в беседке, бельведере или миловиде, как сказали бы другие, или под навесом, построенным для этой скромной цели из нетесаных бревен и досок, почти не тронутых рубанком, возле южной стены среднего двора, чтобы использовать тепло нагретых камней, в яблоневом саду по эту сторону рва, но по ту сторону стены среднего двора, как я уже сказал, в любую, кроме самой уж скверной погоды, даже во время дождя, но только без сильного ветра, так его величеству нравится воздух яблоневое сада, весной белый от цветочных лепестков, гудящий пчелами, а потом в густой зеленой тени, а теперь благоухающий осыпавшимися плодами и осами, что питаются паданцами...

— Ну, говори же, Бога ради!

— Там он будет спать один, никем не охраняемый.

— А, да! И вход?

— Единственная винтовая лестница, такая тесная, что два человека не могли бы на ней разминуться, ведет из покоев короля к узкой двери, ключи от которой есть лишь у очень немногих, в том числе у меня, на случай, если понадобится без отсрочки доложить ему о военном или дипломатическом кризисе.

— Дай его мне, — сказал Фенгон и протянул руку за ключом, почти не бывшем в употреблении, который Корамбис дрожащими пальцами кое-как снял с кольца. Ладонь Фенгона запачкала ржавчина. — Сколько у меня осталось часов до того, как он уснет?

— Господа из Польши, как я уже упоминал, склонны говорить не о том, уклоняться от темы и пускаться в споры до такой степени, что невозможно точно сказать...

— Прикинь. От этого могут зависеть наши жизни.

— Три часа во всяком случае, но меньше четырех. День для осени теплый, и он не захочет ждать, чтобы сумерки принесли вечерний холод.

— Этого времени мне хватит, чтобы съездить в Локисхейм и обратно, если помчусь, как сам Дьявол. У меня там есть субстанция, чьи свойства подходят для этого случая. Он всегда один?

— Его защищает ров, и он, который всегда на людях,

наслаждается тем, что в этот час его никто не видит.

— Я смогу пройти через королевские покои, спуститься и выждать.

— Государь, а если тебе кто-то встретится?

— Скажу, что ищу королеву. Тот, от кого требовалось хранить нашу тайну, теперь ее знает.

— Надо ли мне оповестить королеву о том, что только что произошло?

— Ничего ей не говори! Ни-че-го! — Старик охнул, так крепко Фенгон сжал его плечо. — Ее надо держать в неведении ради нее и нас. Только неведение убережет чистоту ее сердца и поведения. Поляки задержат его на несколько часов, но бди и не позволяй ей встретиться с ним, иначе он может открыть ей глаза и нанести рану, вырвав крик, который выдаст нас всех. А теперь скажи мне, можно ли вернуться из сада в замок каким-нибудь другим путем?

Корамбис задрал растрепанную большую голову — тыкву, нафаршированную интригами пяти десятилетий датского правления. Даже на краю собственного четвертования он наслаждался причастностью к заговору. И ответил:

— Подъемный мост, по которому в сад через ров переходили сборщики плодов, уже поднят и закреплен цепями на зиму. Однако (забрел смутный свет) из нужника конюхов в конюшне вниз ведет узкий сток. В него можно проникнуть снизу и влезть наверх. Но для вельможи нечистоты...

— В этой тонкости я разберусь сам. Расстанемся без промедления в надежде снова встретиться, если не в этом мире, то в беспредельном будущем.

Фенгон стал бесчувственным оружием в собственной яростной хватке. Он сам оседлал своего коня, к счастью, самого быстрого в его конюшне, вороного арабского жеребца, чья морда уже подернулась сединой. Он возился с пряжками, проклиная Сандро, который управлялся с генуэзским седлом так любяще и ловко. Наконец, усевшись в седло и миновав надвратную башню, он карьером промчался все двенадцать лиг до Локисхейма через лес Гурре и дальше, так что его конь был весь в мыле, а он — в поту под жаркой одеждой. Его слуги изумились его появлению — ведь уехал он на заре этого же дня, — обернули дрожащего скакуна попоной и напоили его, а Фенгон сразу кинулся в дом.

То, что он искал, было спрятано в резном сундуке с веревочными ручками, стоявшем под скрещенными алебардами. Когда он открыл застёжки в форме рыбок и откинул крышку, изнутри сундука пахло йодистым ароматом Эгейского моря. Почти на дне, под слоями сложенных шелков и резных фигурок из слоновой кости и кедрового дерева (запас сокровищ на случай, если его ухаживания за Геруте потребуют и их) он нашел массивный крест из нефрита, греческий, так как его поперечины были одинаковой длины. Подарок знатной дамы. «На случай, если тебе повстречается враг», — томно объяснила она. Он был тогда моложе и, пытаясь взять галантный тон, сказал какую-то глупость: дескать, ему не страшны никакие враги, пока она остается его другом. Она была старше его и пренебрежительно улыбнулась его лести. В Византии само собой разумелось, что и жизни, и любви просто кончаются. Она сказала: «Подобно тому как крест знаменует и агонию смерти, и обещание жизни вечной, так и сок хебоны объединяет эссенции тиса и белены с другими ингредиентами,

враждебными крови. Введенный в рот или ухо, он вызывает мгновенное свертывание — бешеный брат медленно подкрадывающейся проказы. Смерть быстра, хотя наблюдать ее ужасно, и неизбежна».

В одной из равных поперечин креста, тщательно выдолбленной и запечатанной пунцовым воском, был спрятан узкий флакончик венецианского стекла. Фенгон счистил воск кончиком кинжала, и флакончик выскользнул наружу. Смертоносная жидкость за долгие годы дала коричневый осадок, но едва — он встряхнул флакончик, как она стала прозрачной, чуть желтоватой, и даже в сумраке низкой комнаты флакончик словно засветился. А что, если она лгала? Она ведь лгала очень часто. Лгала просто так — из чистого удовольствия творить множественные миры. Руки Фенгона затряслись в такт его прерывистому дыханию, когда он подставил жидкость свету, а потом засунул флакончик во внутренний карманчик своего дублета. Его ягодицы и кожа с внутренней стороны бедер саднили, спина в крестце разламывалась после тряской скачки. Он же стар, стар; он промотал свою жизнь. Он почувствовал, что от него разит старостью, давно не ворошенной прелой соломой.

Скачка назад в Эльсинор высосала все силы вороного. Фенгон хлестал состарившегося жеребца немилосердно, выкрикивая клятвы, вопя в ничего не понимающее ухо, снаружи настороженное, волосатое, внутри лилейное, оттенка человеческой плоти, что отправит его — если сердце у него выдержит — на сочное пастбище с табунчиком пухленьких кобылок. Отозвавшись на оклик стража, не сбавляя галопа, Фенгон прогремел по мосту через ров под поднятой решеткой ворот, под надвратной башней во внешний двор, по одной стороне которого тянулись конюшни. Там не оказалось ни одного конюха: вот и хорошо, свидетелем меньше, если будут искать свидетелей. Он сам отвел жеребца в стойло. Погладил черную морду, всю в хлопьях пены, окровавленные ноздри и шепнул ему: «Пусть и у меня хватит сил». Две поездки, обычно по два часа каждая, заняли меньше трех. Отражение Фенгона — в лиловом лошадином глазу, осененном длинными ресницами, выглядело укороченным, приземистым — бородатый тролль.

Спешенный, ощущая воздушную легкость в голове, он на подгибающихся ногах никем не замеченный проскользнул вдоль внутренней стены малого зала, поднялся по широким ступеням лестницы, за долгие века истертым до ребристости, и через пустую приемную вошел в большой зал — и опять вверх по лестнице со всей осторожностью, через аудиенц-зал, а оттуда в личные покои короля и королевы с еловыми полами. Из дальней комнаты до него донеслись звон лютни и переплетающиеся жиденькие голоса флейт — королеву и ее дам услаждали музыкой, пока они трудолюбиво склонялись над пальцами. Быть может, королевские лакеи собрались там под дверями послушать. Со змеиной бесшумностью Фенгон скользнул через пустой солярий брата и нашел арку, низенькую, точно церковная ниша, в которую ставят чашу со святой водой. За ней начиналась винтовая лестница. Он все время задевал стену, такой узкой она была, освещенная единственной *meurtriére* [16] на полпути вниз.

Вертикальный вырез пейзажа — сверкающий ров, кусок соломенной кровли, дым от чего-то, сжигаемого в поле, — заставил его заморгать, а у него за спиной по вогнутой стене бежала отраженная водяная рябь. Он спустился в колодезь тьмы. Его шарящие пальцы нащупали

сухие филенки и ржавые полосы железа. Дверь! Он поглаживал эти грубые поверхности в поисках замочной скважины, как поглаживают женское тело, ища потаенное узкое отверстие, дарующее отпущение. И нашел ее. Ключ Корамбиса оказался впору. Хорошо смазанные петли не скрипнули. Сад снаружи был пуст. Слава... кому? Не Дьяволу: Фенгон не хотел верить, что оказался навеки во власти Дьявола. Греющий солнечный свет добывал золото из некошеной травы. Гниющие груши и яблоки наполняли воздух запахом брожения. Его сапоги давили разбухшие паданцы, оставляя предательские следы на спутанных сухих стеблях. Его колотящееся сердце оттеняло холодную, абстрагированную решимость его воли. Другого выхода нет, каким бы непродуманным и опасным ни был этот.

Он услышал шаги в стене над собой — такая близость во времени указывала на руку Небес. И присел за повозкой, в которую месяц назад складывали сорванные плоды, а теперь с крестьянской беззаботностью бросили тут на милость наступающей зимы. Он ощупал массивный крест, бугрящий его карман. Нефритовые края были обпилены, а поверхности отполированы до гладкости кожи, после чего на них вырезали кольцевые узоры, на ощупь казавшиеся кружевами. Он старался думать о светлой, розовой Геруте, но его душа была узко, мрачно нацелена на охоту, на то, чтобы сразить дичь наповал.

Из арки в нижней части стены сада вышел король. Его королевские одежды засверкали в косом солнечном свете. Лицо выглядело опухшим и усталым, нагим... он ведь не знал, что его кто-то видит. Фенгон извлек флакончик из поперечины креста и начал ногтем большого пальца высвобождать пробку — стеклянный шарик, удерживаемый на месте клеем, за долгие годы ставшим тверже камня. Может быть, ее не высвободить, может быть, ему следует тихо ускользнуть, не совершив задуманного? И что его ждет? Гибель. Но не только его — а и той, которая молила: «Защити меня». Стеклянная пробочка высвободилась. Тонкая пленка жидкости на ней обожгла ему указательный палец.

Из-за брошенной, разошедшейся повозки Фенгон смотрел, как его брат скинул мантию из синего бархата и набросил ее на изножье ложа из подушек, которое стояло на приподнятом полу беседки, будто на маленькой крытой сцене. Сюрко короля было золотисто-желтым, туника из белоснежного полотна. Подушки на ложе были зеленые. Свою восьмигранную, всю в драгоценных камнях корону он поставил на подушку возле своей головы и натянул на себя одеяло из грязно-серой овчины. Он лежал, уставившись в небо, словно переваривая сведения, что ему наставили рога и он должен обрушить на преступников сокрушающую месть. А может быть, переговоры с поляками проходили негладко. Фенгон испугался. Как быть, если расстроенный монарх вообще не уснет? Он взвесил идею кинуться в беседку и принудить Горвендила проглотить содержимое флакончика, влить яд в его вопящую красную глотку, будто расплавленный свинец в рот еретика.

Ну а если ничего не получится и на крики короля сбегутся стражники, тогда уделом Фенгона станет публичное растерзание его тела, чтобы другим неповадно было. В Бургундии он видел посаженного на кол заговорщика, вынужденного наблюдать, как собаки пожирают его кишки, вываливающиеся на землю перед ним. Верноподданная толпа зевак считала это превосходным патриотическим развлечением. В Тулузе ему рассказывали, как

сжигали катаров, стянутых веревками, будто вязанки хвороста: только горели они медленно — сначала обугливались ступни и лодыжки. От людей, выживших после пыток, он слышал, что дух возносится на высоту, с которой безмятежно смотрит на свое тело и его муки, словно из Райских Врат. И теперь он ждал, колеблясь, а когда воробьи и синички на ветках у него над головой и вокруг перестали отзываться на его присутствие возмущенным чириканьем, словно завидев кошку, он вышел из-за повозки проверить, открыты ли еще удлинненные голубые глаза его брата. Если да, ему придется сделать вид, будто он пришел умолять о пощаде, и выждать случая насильственно влить яд. Но из бельведера короля доносилось, заглушая гудение ос в сахарной траве, рокотание храпа, вдохов и выдохов сонного забвения. Фенгон приблизился — шаг за шагом по повисшим стеблям умирающей травы — с откупоренным флакончиком в руке. Его брат спал в знакомой позе, свернувшись на боку, подоткнув под подбородок расслабленный кулак. Таким часто видел его Фенгон, когда сначала они делили кровать, а затем общий покой с двумя кроватями в пустынной Ютландии, где ветры делали сон тревожным. Фенгон, хотя и младший, просыпался очень легко. Горвендил ежедневно переутомлял себя, доказывая свое первенство, разыгрывая старшего, настаивая на своем преимуществе в играх и ученых поединках, в исследовании вересковых пустошей и голых вершин окружающих холмов. Горвендил, поглощенный набегами и веселыми пирами в подражание языческим богам, с женой, которую ютландские ветры иссушили, ввергли в непроходящий ступор, предоставил своих сыновей попечению природы. И Горвендил в их заброшенности взял на себя родительские обязанности: командуя, но руководя, браня, но ведя своего менее внушительного и более стройного брата за собой через промежуток в восемнадцать месяцев между днями их появления на свет. По верескам, через чащобы в погоне за дичью с пращами и луками, деля с ним бодрящий морозный воздух и бегущее широкое небо. Разве в этом не было обоюдной любви? Увы, любовь столь всепроникающая, столь легко рождается нашей детской беспомощностью, что замораживает все действия и даже то, которое необходимо, чтобы спасти себе жизнь и обеспечить свое благополучие. Словно сами по себе сапоги Фенгона всползли по двум ступенькам на возвышение, где король спал на боку, уткнув одрябленную щеку в подушку, подставляя ухо. Чтобы вылить в это ухо содержимое флакончика, Фенгону пришлось приподнять прядь светлых волос брата, все еще мягких и кудрявящихся там, где они поредели от приближения старости и тяжести короны. Ухо было симметричное, квадратное и белое, с пухлой мочкой, с бахромой седых волос вокруг воскового отверстия. Втянутый воздух застрял в зубах Фенгона, пока он лил в это отверстие тонкую струйку. Его рука не дрогнула. Ушное отверстие его брата — воронка, впитавшая ядовитые слова Сандро, спираль, ведущая в мозг и во вселенную, создаваемую мозгом, — приняло бледный сок хебоны, слегка перелившийся через край. Горвендил, не просыпаясь, неуклюже смахнул каплю, будто осу, потревожившую его сон. Фенгон отступил, сжимая в кулаке пустой флакончик. Ну, так кто теперь Молот? От стука крови у него подпрыгивали мышцы. Он не решился снова воспользоваться винтовой лестницей, тесной ловушкой. Наверху он может столкнуться с лакеями или королевой, ее дамами, музыкантами. Пригнувшись пониже, он

побежал вдоль вогнутой стены двора туда, где, как и обещал хитрый Корамбис, каменный желоб выбрасывал свое содержимое в ров, однако выступы и выщербленности в каменной кладке позволяли добраться до него и (Фенгон стиснул зубы и затаил дыхание, чтобы не ощущать смрада) взобраться вверх, топыря руки и ноги. Плюща, когда-то помогшего ему добраться до Геруте, тут не было, но за годы и годы моча разъела известку, и было куда ставить ступни. Вонючая слизь облепляла камни, между которыми в бессолнечных щелях размножались огромные белесые стоножки, ежедневно получая питательные нечистоты. Светлая дыра, к которой, извиваясь, всползал Фенгон, была узкой, но не уже сводчатого окна Геруте. Сквозь то он протиснулся, а теперь и сквозь это, будто жирный дым, клубящийся в дымоходе, будто экскремент, повернувший вспять, экскремент, потея, крича и моля Бога или Дьявола, чтобы зов природы не привел в нужной чулан конюха или стражника именно в эти минуты. Не то в игру вступит его кинжал: одно убийство требует следующего. Но никто не увидел, как он выбрался из нужного чулана. Он почистил мокрые вонючие пятна на тунике и штанах и поспешил вдоль стены двора и надвратной башни туда, где его вороной жеребец все еще раздувал ноздри, тяжело дыша. Он встал рядом с конем, чтобы запах лошадиного пота заглушил вонь его одежды, а потом громко позвал конюха, заручаясь свидетелем, что только сейчас прискакал в Эльсинор. Флакончик и нефритовый крест он при первом удобном случае обронил в ров. Хотя позже на досуге он мучился от раскаяния и страха перед ползучим правосудием Божьим, пока Фенгон не испытывал угрызений, а только облегчение, что все удалось. Его религия давно превратилась в холодную необходимость, форму поклонения удачным кувырканиям на костях сущих вещей. Труп обнаружили, только когда прошел еще час и ничего не подозревавшая королева послала служителя разбудить ее мужа. Труп Горвендила, окоченевший, с налитыми кровью невидящими и выпученными глазами, лежал покрытый серебристой коростой, будто проказой: вся его гладкая кожа стала омерзительной, все соки в его теле свернулись. Фенгон и Корамбис, взяв на себя управление среди общего смятения, предположили, что ядовитая змея, гнездившаяся в некошеной траве сада, вонзила клыки в спящего прекрасного и благородного монарха. Или же недуг крови, невидимо набравший силу, вдруг вырвался наружу — ведь последнее время король казался мрачным и удрученным. Как бы то ни было, несмотря на эту страшную беду, королевство, чьи чужеземные враги зашевелились, нуждалось в твердой руке, а сраженная горем королева — в утешении. Кто же, как не брат короля, чей единственный сын, принц, более десяти лет предается бесплодным занятиям в Виттенберге?

III

Король был раздражен.

— Я приказываю, чтобы он вернулся в Данию! — Клавдий заявил Гертруде. — Его дерзкое самоизгнание ставит наш двор в глупейшее положение, подрывает наше только-только начавшееся правление. И не возвращается он как раз поэтому. Хотя мы назвали его следующим, кто взойдет на престол, ибо наше собственное восхождение на таковой отчасти стало необходимым из-за его длительного отсутствия из Дании и по настоянию моих сотоварищей в совете знати, и оно было подтверждено тингом, поспешно созванным в Виборге, — несмотря на все это, он упорно и злобно отсутствует, а когда снисходит появиться,

то выглядит раздерганным до грани сумасшествия. Так поздно он приехал на похороны отца и так торопливо уехал, едва великие кости были преданы земле, что его друг Горацио — превосходнейший малый, я пригласил его оставаться тут так долго, сколько он пожелает не отказывать королю в советах... так Горацио не успел даже свидеться с ним! Он пренебрег своим лучшим другом, а народ не составил о нем никакого впечатления, так мало он пробыл тут. Гамлет разыгрывает из себя призрака, неясное порождение слухов исключительно назло мне, поскольку народ всегда его любил, и его отсутствие из Эльсинора намеренно подрывает наше право на царствование.

Гертруда все еще не свыклась с тем, что ее возлюбленный способен говорить так длинно и так велеречиво. Теперь, даже когда они оставались наедине, он говорил так, будто их окружали придворные и послы — живые атрибуты власти. Прошли две недели с того дня, как ее муж погиб в яблоневом саду, совсем один, не получив отпущения грехов, будто какой-нибудь бедняк, добывавший пропитание на морском берегу или подобно лишенной души лесной зверушке, либо птице, разодранной острыми когтями. Уже, казалось ей, Фенгон стал дороднее, величавее. Коронуясь, он назвал себя Клавдием, а Корамбис, по примеру своего господина, обратился к имперской благозвучности латыни и взял имя Полоний.

— Я думаю, он вовсе не хочет причинить вред тебе или Дании, — без особой охоты начала она защищать своего сына.

— Дания и я, моя дорогая, теперь синонимы.

— Ну разумеется, и я считаю это чудесным! Но что до маленького Гамлета... Произошло слишком много перемен, а он, правда, обожал отца, как ни мало они имели общего в утонченности и образовании. Мальчику нужно время, а в Виттенберге он чувствует себя легко и спокойно, у него там друзья, его профессора...

— Профессора, проповедующие крамольные доктрины — гуманизм, ростовщичество, рыночные ценности, не совсем божественное происхождение власти монарха... мальчику уже тридцать, и ему пора вернуться домой к реальности. А ты действительно, — продолжал он тиранически обвинительным тоном, который больно напомнил ей его предшественника на престоле Дании, — ты действительно полагаешь, что он в Виттенберге? Мы понятия не имеем, там он или нет. «Виттенберг» это просто его слово для «где-то еще» — где-то еще, только не в Эльсиноре.

— Он избегает не тебя, а меня, — сорвалась Гертруда.

— Тебя? Родную мать? Почему?

— Он ненавидит меня за то, что я желала смерти его отцу.

Король заморгал:

— А ты желала?

Ее голос становился хриплым: за эти две недели слезы снова стали привычными для ее глаз, и теперь она вновь ощутила их пощипывающее тепло.

— Мое горе показалось ему недостаточным. Я ведь не захотела тоже умереть, так сказать, броситься в погребальный костер его отца, хотя, конеч— но, погребальные костры остались в прошлом — такой варварский обычай, все эти бедные одурманенные рабыни, совсем еще девочки... И я не могла не думать, что больше не надо опасаться, как бы Гамлет, мой муж Гамлет, не узнал про нас с тобой. Я же страшно этого боялась, хотя и претворялась, будто не боюсь, — не хотела

тревожить тебя. И я ощутила облегчение. А сейчас я корю себя за это. Даже и мертвый, Гамлет вынуждает меня чувствовать себя виноватой из-за того, что я была менее добродетельной и ответственной, чем он. — Ну-ну! Я-то находился в таком положении с рождения, а ты только после замужества.

— А теперь он перешел к маленькому Гамлету — этот дар внушать мне, какая я грязная, удрученная стыдом, недостойная! Я должна признаться... Нет, даже выговорить страшно. — Она подождала, чтобы ее уговорили продолжать, а потом продолжила без уговоров: — Ну, хорошо, я скажу тебе. Я рада, что дитя не в Эльсиноре. Он бы дулся. Он бы старался внушить мне ощущение, что я пустая и глупая и порочная.

— Но разве он мог узнать... хоть что-нибудь?

«Как похоже на мужчину! — подумала Гертруда. — Они хотят, чтобы ты делала для них все, а потом из жеманства не желают назвать это вслух. Клавдий просто хочет, чтобы все шло гладко теперь, когда он король, а прошлое — за семью печатями, уже история. Но история вот так не умирает. Она живет в нас, она сделала нас тем, что мы теперь».

— Дети просто знают, и все, — сказала она. — Ведь вначале им нечего изучать, кроме нас, и уж в этом они великие специалисты. Он чувствует все; я страшно его разочаровала. Он хотел, чтобы я умерла, была бы безупречной каменной статуей вдовы, вовеки оберегающей для него святилище его отца, так как в нем запечатано и его собственное детство. Обожание отца для него — это род самообожания. Они оба — одного поля ягода: слишком уж хороши для этого грешного мира. В нашу брачную ночь Гамлет даже не взглянул на меня нагую. Слишком перепил. А ты, Бог тебя благослови, ты смотрел не отрываясь.

Его волчьи зубы открылись в улыбке посреди черного руна бороды — белый проблеск, как его белоснежная прядь.

— Ни один мужчина не удержался бы, любовь моя. Ты была... ты и сейчас совершенство в каждой своей части.

— Я толстая, избалованная, сорокасемилетняя и все-таки словно бы стою, чтобы меня называли совершенством. Ну, как если бы мы играли. Гамлет, большой Гамлет, никогда не умел играть.

— Он играл только, чтобы выигрывать.

Гертруда удержалась и не сказала, что и Клавдий в своем новообретенном величии тоже очень склонен выигрывать. С другой стороны, проведя всю свою жизнь в обществе королей, Гертруда знала, что для короля проигрыш обычно означает потерю жизни. Высокое положение подразумевает внезапное падение.

— Я ведь, в сущности, его люблю, — сказал Клавдий. —

Молодого Гамлета. Мне кажется, я могу дать ему то, чего он никогда не получал от своего отца — мы же с ним одинаково жертвы этого тупого вояки, этого истребителя Коллеров. Мы похожи, твой сын и я. Его утонченность, о которой ты упомянула, очень похожа на мою утонченность. У нас обоих есть теневая сторона и потребность странствовать, покинув это туманное захолустье, где овцы похожи на валуны, а валуны на овец. Он хочет чего-то большего. Хочет узнать побольше.

— По-моему, ты сказал, что он ездит не в Виттенберг.

— Он ездит куда-то и узнает что-то, а это порождает в нем неудовлетворенность. Говорю же тебе, я ему сочувствую. Мы оба

жертвы датской узости и мелочности — кровожадность викингов, втиснутая во внешние формы христианства, которое никто здесь никогда не понимал, начиная от Гаральда Синего Зуба. Для него ведь это был просто способ предупредить немецкое вторжение.

Христианство становится мрачным в студеных странах. Это ведь средиземноморский культ, религия виноградной лозы. Нет, правда, я убежден, что сумею заставить принца полюбить меня. Я же назначил его моим преемником.

— Возможно, он сердится, что остается принцем, а ты занимаешь престол его отца.

— Как он может сердиться? Он же никогда здесь не бывал, он никогда не изъявлял желания учиться искусству управлять, постигать, что грозит опасностью правительству, а что поддерживает его. Люди шепчутся, — Клавдий сказал Гертруде со скорбным выражением, понизив голос, — что он сумасшедший.

Она вздрогнула.

— Он в здравом уме и очень хитер, — сказала она, — но все равно я не могу горевать из-за его отсутствия. Если он вернется домой, я чувствую, он принесет беду.

— Но вернуться он должен, не то за стенами Эльсинора появятся смутьяны. А вот и способ вернуть его: выходи за меня замуж. Первым ответным ее порывом была радость, но тревожные времена погружали их в свою тень и точно маленькие гири потянули ее сердце вниз.

— Мой муж, твой брат, скончался всего две недели назад.

— Еще две — и будет месяц. Достаточный срок для вяленого мяса, вроде нас с тобой. Гертруда, не отказывай мне в естественном увенчании моей долгой, чреватой бедами любви. Наше нынешнее положение, столь неловкое в королевских покоях Эльсинора, слишком уж странно. Нам приходится тайком пробираться на свидания, будто призрак твоего мужа ревниво охраняет твою добродетель. Наш союз уймет праздно болтающие языки, а Эльсинор получит крепкий фундамент — господина и госпожу. — «И укрепит мое право на престол». Но этого Клавдий не сказал.

— Сомневаюсь, что это успокоит Гамлета, — сказала королева.

Двойственность имени (отец-сын, король-принц) заставила ее горло сжаться, словно в нем поднялся комок.

— Готов побиться об заклад, будет как раз наоборот, — сказал Клавдий, упрямый и уверенный в своих решениях, как подобает королю. — Это вернет его матери самое высокое положение, доступное женщине, и он получит в отцы своего дядю. Пример нашей свадьбы укрепит и упрочит его намерения относительно Офелии, как того желаете и вы с Полонием. Ты — ради здоровья твоего сына и ясности его духа, он — ради возвышения своей дочери. Я не прочь даровать старику исполнение его заветной надежды, он хорошо послужил нашей с тобой любви.

Это краткое упоминание их «любви» задело больное место в душе Гертруды. Хотя у нее хватило смелости и дерзости отдаться любовнику, пока она все еще была женой короля, и ее совесть могла простить столь предосудительное поведение, как разыгрывание сюжета одного из тех романов, которые скрашивали томительную скуку ее замужества, однако после смерти короля мысль об этой шалости превратилась в мучение: ей казалось, что ее падение каким-то образом понудило гадюку в яблоневом саду ужалить спящего

рогоносца. Тогда же исчез Сандро, и ей приходило в голову, что существует причина, ей неизвестная. Клавдий в ответ на ее расспросы сказал, что юноша с приближением зимы затосковал о родине и он разрешил ему вернуться на юг, щедро его наградив. Ее смущало, что это произошло так быстро и без ее ведома. В прежней своей ипостаси Клавдий разговаривал с ней свободно и беззаботно, как человек, которому нечего скрывать, но теперь в его словах появилась официальная сдержанность, многозначительные обиняки. Да, будет хорошо подальше припрятать и забыть все это — охотничий домик над озером, горстку пособников, втянутых в их обман, опьяняющее удовольствие принадлежать сразу двум мужчинам, языческое бесстыдство — за щитом безукоризненного и нерушимого королевского брака. Порозовев, будто снова в венке невинности, Гертруда дала согласие.

Клавдий потер руки: сделка, политически важная, доходная, была заключена. День назначен. Гонцы — в Виттенберг, к Лаэрту в Париж, в столицы дружественных держав — были отправлены на перекладных. Хотя празднование предстояло самое тихое — свадьба в трауре, — для Гертруды эти сужающиеся ноябрьские дни посветлели. То, что один раз оставило нас желать лучшего, при повторении мы стремимся сделать совершенным.

Гостей собралось гораздо-гораздо меньше, чем тогда, когда добрый король Родерик созвал на свадьбу дочери весь цвет датской знати и всех высокопоставленных слугителей короны из самых дальних пределов датской власти в Шветландии и Нижнем Шлезвиге. В моду вошли многоцветные чепцы и дублеты с узором из ромбов и штаны-чулки асимметричной расцветки — в них были облачены даже почтенные старцы. Тяжелые ожерелья и цепи кованого золота теперь стали знаком отличия главы магистрата и королевских чиновников, а колокольчики, которые Гертруда девушкой носила на поясе, все тут сочли бы смешным отголоском старины. И либо она выпила меньше вина и меда, чем на той ошеломительной, пугающей, льстившей всем ее чувствам первой свадьбе, либо она стала много привычней к возлияниям, слова священника у алтаря, которые в первый раз она от волнения почти не слышала, теперь поразили ее трогательной устарелостью: и обмен клятвами, и человек да не разъединит. Такое странное употребление слова «разъединит!» «Пока смерть нас не разлучит». Гертруда подумала: как скоро это произойдет? Как вообще может произойти? И все-таки апоплексия в теплый послеполуденный час Дня Всех Святых принесла вечную разлуку... Змея в траве солнечного яблоневого сада.

Они с Клавдием долго обсуждали, не обойтись ли вовсе без музыки и танцев. Пожалуй, так будет лучше: ведь со дня смерти короля Гамлета и месяца не прошло. Однако жизнь должна продолжаться, а некоторые гости приедут из такого далека, как Холстен, Блекинге и Рюген. Тихая музыка, согласившиеся врачующиеся, лютня, три флейты и бубен, чтобы задавать ритм, могут послужить фоном, как на пиру — выцветшая шпалера, прячущая каменную стену. А если потом начнутся танцы, пусть танцуют. Она и король, чтобы задать приличествующий тон сдержанного празднования, прошлись в ductia, размеренные скользящие движения которой вполне

гармонировали с похоронной песней, подумалось ей, а ее зрение туманил дым от камышовых факелов и ревущего огня двух сводчатых очагов в двух концах огромного зала. Обе ее свадьбы были зимой, думала она, но в этом декабре снег пока лишь мягко кружил отдельными хлопьями. Небеса еще выжидали. Клавдий, мягко двигавшийся рядом с ней, выпуская ее руку на повороте, чтобы взять другую, почему-то словно отдалился от нее, став ее мужем. Его прикосновение стало окостенело напряженным из-за его новых обязанностей. Когда они, рискуя всем, встречались в лесу Гурре, ее так восхищали его бесшабашное отречение от всех законов, его растворение в сейчас и теперь, едва он достиг своей цели, завоевал ее, не страшась никаких последствий. Нынче они жили в последствиях этих последствий, величаво шествуя в танце в такт бубну, пытаюсь выжить после уничтожения преступивших в упоении все священные узы любовников, которые существовали только вне стен Эльсинора. Соблазнитель стал кормчим государства, его далекая возлюбленная стала повседневностью.

Когда музыка оборвалась, он отпустил ее руку и отошел приветствовать их гостей, знатнейших подданных их короны. Она смотрела, как он — меховой воротник его одеяния поднят и серебрится по краям, будто инеем, золотой крест на его груди отражает алые отблески огня — направился к Гамлету и Лаэрту, которые беседовали, сближенные жизнью к югу от Дании. Лаэрт щеголял темной козлиной бородкой, такой же, как у его отца, но только не выбеленной временем, а Гамлет отрастил рыжую бороду. Совсем не густую, не такую курчавую, как у его светловолосого отца, — рыжина этой бороды напоминала бледную медь ее собственных пышных кос и кудрявых завитков на другом месте. Эта полупрозрачная борода внушала ей отвращение: будто к нему перешло что-то очень ее личное, а он выставил это тайное напоказ. В расцвете своих тридцати лет он бросал ей вызов — пусть-ка заявит о своей материнской власти над его лицом! Ей это было по силам не больше, чем самой осознанно распорядиться собой в любви и браке.

Всегда между ними — матерью и сыном — стояли ее тщетные усилия почувствовать себя любимой его отцом, прозрачное, недоступное для слов препятствие, сквозь которое он смотрел на нее, будто сквозь рубашку, в которой родился. Он причинил ей столько боли, рождаясь. Никто никогда не причинял ей таких страданий, как Гамлет, пока сражение на дюнах Ти завершалось победой.

По движениям его красивых пунцовых, почти женских губ она видела, что Клавдий говорит с Лаэртом по-французски, а с Гамлетом по-немецки, утверждая себя в их обществе еще одним человеком большого мира, хотя, возможно, за долгие сроки он успел подзабыть эти языки и говорил на них не так свободно и непринужденно, как они, упражнявшиеся в них совсем недавно. Она тревожилась, как бы Клавдий, чей космополитизм успел чуточку устареть, не подверг себя насмешкам, однако оба молодых человека, насколько она могла судить с такого расстояния, отвечали почтительно — Лаэрт с некоторым одушевлением, а выражение на лице Гамлета маскировалось этой противной бородой, такой реденькой, что сквозь нее проглядывала бледность его щек. Ее сын был ему врагом, ощущала она своими чреслами. Надежды Клавдия завоевать любовь мальчика казались ей бредовым самообманом, но, с другой стороны, его ухаживания за ней, его невероятная романтическая любовь привели к этому завершающему

брачному триумфу... Она с облегчением увидела, что Клавдий направляется дальше. Ему ведь предстояло приветствовать всех гостей, он же был звездой, центром происходящего и должен был разделить себя между всеми ними поровну. Гертруда знала об этом все, так как сама с рождения была звездой, единственным ребенком короля, средоточием завистливых и собственнических взглядов еще в колыбели.

Полоний, щеголяя широким новехоньким упеляндом, подошел к ней и, заметив направление ее взгляда, сказал:

— Наш король держится прекрасно, как тот, кто давно привык первенствовать.

— Признаюсь, я не ожидала, — сказала она, — что он примет величие так охотно. Я считала его скитальцем, высокородным бродягой.

— Некоторые люди, государыня, скитаются, чтобы вернуться достаточно сильными для достижения давно лелеемых целей. Гертруде не нравилось думать, что Клавдий, подобно своему брату, стремился к престолу. Она предпочитала думать, что престол достался ему благодаря прискорбному случаю. Правда, он действовал инициативно и целеустремленно, добившись одобрения совета знати, избрания четырьмя областными тингами и поспешным письмом поддержкой епископов Роскильда, Лунда и Риббе. Но все это она объясняла мерами не допустить хаоса вслед за несчастьем. В дни полной растерянности, последовавшими за тем, как Гамлет был найден мертвым, и не просто мертвым, но жутко обезображенным, подобно статуе, которая, долго пролежав в земле, распадается в прах поблескивающими чешуями. Гертруда сосредоточивалась на другом, на внутреннем, на своей исконной обязанности оплакивать, склоняться под бременем утраты. Чуть ли не впервые в жизни с тех пор, как у нее начались месячные, она чувствовала, что ее преображает какой-то недуг, и не могла подняться с постели, словно ее место было рядом с Гамлетом в его глиняной могиле на омерзительном кладбище за стенами Эльсинора, где туман льнул к продолговатым холмикам, а лопаты весело болтающих могильщиков постоянно пролагали путь к подземному миру костей. Отрезанную от мира, ее навещали только Герда, у которой были свои причины горевать, так как Сандро уехал, а живот у нее все увеличивался; да ее перешептывающиеся придворные дамы, чьи лица еще сияли от упоительного волнения по причине недавнего ужасного события; да еще придворный врач в обвислом колпаке и с ведерком, полным извивающихся пиявок. Гертруда сама врачевала свои душевные симптомы, дивясь, почему ее горе так неглубоко и запятнано облегчением. Тяжесть короля скатилась с нее. Он никогда не видел ее такой, какой она была, сразу же торопливо подогнав ее под собственное представление о своей королеве. Позднее ей пришло в голову, что в промежутке междуцарствования какая-нибудь другая королева отстаивала бы право своего сына на отцовский престол. Но ведь Гамлет, едва приехав на погребение отца, сразу же снова исчез. Материнский инстинкт убедил ее, что датский престол с его мелочными кровавыми налогами, взимаемыми с души, был бы даром, который он презрительно отверг бы. Полоний, вновь обретший всю полноту влияния своего сана, не встал на сторону принца: между ними тлела вражда, неприязнь, унаследованная сыном от отца. Только и всего, пока она погружалась в болезненную дремоту и выслушивала жалобы своих посетительниц, жалобы, казавшиеся ей запутанными,

как нитки в корзинке с вышиванием, в которой выпался котенок. Когда она наконец покинула опочивальню, как исполненная достоинства вдова, в Эльсиноре все было уже решено, и король Клавдий воззвал к ней, умоляя стать его женой. И не могла же она ему отказать: он преклонялся перед ней издали, а приблизившись, чтобы одеть плотью свое нафантазированное представление о ней, показал, что умеет ее развлечь и созвучен с ней настоящей. Мягко, день за днем, она отучит его от преувеличений, сохраняя в себе маленькую избалованную принцессу, которую он воскресил. Быть может, было рановато сочетаться с ним браком, но что еще ей оставалось? Овдовевшие королевы иногда уходили в монастырь, но ей монахини казались очень несчастными женщинами — замужем за постоянно занятым Богом, такие же мелочные и вздорные, как женымирянки, которыми пренебрегают их мужья. Ей нравилась пышная шелковистость бороды Клавдия, ореховый запах его нагой груди. Ей нравилась его вольная, высокомерная энергия, теперь впряженная в колесницу королевских обязанностей.

Эта брачная ночь была совсем не похожа на первую. Тогда не сумел новобрачный совладать со сном, а теперь он не мог предаться сну, хотя празднование, относительно умеренное, сошло на нет в торопливости вежливых откланиваний, и полуночные колокола, подобно разошедшимся гостям, которые затем возвращаются за потерянной перчаткой или забытой сумкой, вновь напомнили о себе одним ударом, а затем и двумя. Он торжествующе взял ее, и его ореховый запах смешался с другим, похожим на затхлость, окутывающую берега серо-зеленого Зунда. Волны ощущений в его нижних частях вознесли ее так высоко, что ее голос вырвался из нее, как зов заблудившейся птицы; и тем не менее, хотя их брачные желания были так великолепно улажены, он не засыпал. В нагретом пространстве под пологом их кровати и она не могла погрузиться в сон, ощущая, что его мужские мышцы все еще напряжены. Всякий раз, когда ее мысли начинали растворяться в бессвязной чепухе — в химерической смеси отзвуков реальности, — его резкое движение рядом с ней вновь извлекало ее в ясность ночи.

— Усни, муж, — сказала она нежно.

— День все еще меня не отпускает. Старик Розенкранц толковывал мне, что необходимо сокрушить молодого Фортинбраса и навсегда покончить с норвежской угрозой. Эти удрученные годами вельможи все еще живут в мечтах о героических боях, сокрушениях, сжиганиях и окончательных решениях вопроса. И в то же время они жиреют на своей доле от процветания торговли, которое обеспечивает международный мир.

— Гамлет говорил то же самое. — Еще скованная дремотой, она ответила слишком поспешно, произнесла ядовитое имя. Ее орогаченный муж, его завистливый брат... Она торопливо продолжала:

— Полоний считает, что ты уже прекраснейший король.

— У него есть личные причины верить и надеяться, что это так. Его доброе мнение уже оплачено.

«Чем?» — сонно подумала Гертруда.

— Он сказал мне... то есть всем нам, собравшимся вокруг, что ты вернешь нас к дням короля Канута. Не святого, а первого, настоящего.

— Того, кто не сумел остановить прилив.

В его тоне проскользнула мрачная сардоничность, которая больно ее уязвила. Как бы ярко ни сияли свадебные факелы, ты вступаешь в

брак и с темной стороной своего мужа. Она объяснила:

— Того, который завоевал всю Англию и Норвегию.

— И кто, если я еще помню свои уроки истории, совершил паломничество в Рим во искупление своих многочисленных грехов.

— Ты хотел бы тоже? — спросила она робко. Ей было очень уютно, и мысль о таком тяжком паломничестве казалась бесконечно далекой. В кровати с Клавдием она чувствовала себя, как в студеные зимние ночи детства у себя в постельке под грудой мехов, щекочущих, ласкающих, подтыкаемых вокруг нее плотно-плотно, так что ее тельце нежилось в тепле, украденном у всех этих зверей и зверушек. Марглар, ежась под плащом с капюшоном, молча сидела рядом с ней, а звезды за незастекленным окном сверкали так же ярко, как блестят кончики сосуллек в лучах утреннего солнца. А что, если ее муж, памятуя, что начали они во грехе, считает ее нечистой? Братья ведь разделяли тот предрассудок темной ютландской религиозности, который отказывается принять мир таким, каков он есть, — чудом, которое повторяется ежедневно.

— Пока еще нет, — ответил Клавдий. — Не раньше, чем в Дании будет наведен безупречный порядок. И я возьму тебя с собой, чтобы ты увидела священный Рим и другие напитанные солнцем места по ту сторону Альп.

Он перевернулся на другой бок спиной к ней и как будто приготовился наконец уснуть, после того как полностью ее рассонил. Ей это не понравилось. Он превращал ее в Марглар, бодрствующую, пока он задремывает. И она сказала:

— Я видела, как ты разговаривал с Гамлетом.

— Да. Он был достаточно мил. Мой заржавелый немецкий его позабавил. Не понимаю, почему ты его боишься.

— Не думаю, что тебе удастся его очаровать.

— Но почему, любовь моя?

— Он слишком очарован самим собой. И не нуждается ни в тебе, ни во мне.

— Ты говоришь о своем единственном сыне.

— Я его мать, да. И знаю его. Он холоден. А ты нет, Клавдий. Ты теплый, как я. Ты жаждешь действовать. Ты хочешь жить, ловить день. Для моего сына весь мир лишь подделка, зрелище. Он единственный человек в его собственной вселенной. Ну а если находятся другие чувствующие люди, так они придают зрелищу живость, может он признать. Даже меня, которая любит его, как мать не может не любить с того мгновения, когда ей на руки кладут причину ее боли, новорожденного, который кричит и плачет от воспоминания об их общей пытке, — даже на меня он смотрит презрительно, как на доказательство его естественного происхождения и свидетельство того, что его отец поддался похоти. Голос Клавдия стал резким:

— Тем не менее, на мой беспристрастный взгляд, он кажется остроумным, с широкими взглядами, разносторонним, удивительно чутким к тому, что происходит вокруг, чарующим с теми, кто достоин быть очарованным, превосходно образованным во всех благородных искусствах и красивым, с чем, несомненно, согласится большинство женщин, хотя эта новая борода, пожалуй, производит неблагоприятное впечатление, скрывая больше, чем оттеняя.

Гертруда сказала на ощупь:

— Гамлет, я считаю, хочет чувствовать и быть актером на сцене вне своей переполненной головы, но пока не может. В Виттенберге, где

большинство — беззаботные студенты, валяющие дурака в преддверии настоящих дел, отсутствие у него чувств — или даже безумие, безумие отчужденности, — остается незамеченным. Ему следовало бы оставаться студентом вечно. Здесь, среди серьезности и подлинности, он ощущает, что ему брошен вызов, и сводит все к словам и насмешкам. У меня одна надежда: что любовь приведет его в равновесие. Прекрасная Офелия совершенна в своей душевной прелести, в тонкости чувств. Твой брат считал ее слишком хрупкой для продолжения его рода, но она обретает женственность, и интерес Гамлета растет не по дням, а по часам.

— Очень хорошо, — сказал Клавдий, пресытившийся женой мудростью и теперь вполне готовый расстаться с этим днем. — Но твой анализ выявил еще одну причину, почему нельзя допустить, чтобы он сбежал в Виттенберг. Истинная привязанность должна строиться на все новых добавлениях, как прекрасно помним ты и я. Она нарушила молчание, на котором настаивало его собственное:

— Мой господин?

— Что, моя королева? Час поздний. Король должен встречать солнце, как равный равного.

— Ты чувствуешь себя виноватым?

Она ощутила, как его тело напряглось, дыхание на миг оборвалось.

— Виноватым в чем?

— Ну, в чем же еще? Виноватым из-за нашей... нашего сближения, пока... Гамлет был моим мужем.

Клавдий раздраженно фыркнул и крепче сжал нарастающий ком утомления, так что их пуховая перина заметно приподнялась.

— Согласно старинному правилу викингов, то, что ты не можешь удержать, не твое. Я отнял у него владение, про которое он ничего не знал, поле, которое он так и не вспахал. В необузданной любви ты была девственна.

И хотя она чувствовала, что его объяснение не совсем правда, в нем все-таки было достаточно правды, чтобы оно могло послужить опорой. И они уснули в унисон.

Через несколько недель после своей свадьбы королева пригласила Офелию в свой личный покой, когда-то новопристроенную комнату короля Родерика с трехарочным окном. Дочь Полония и его вечно оплакиваемой Магрит в свои восемнадцать лет расцвела сияющей красотой — застенчивой, но грациозной, — матовая кожа без единого изъяна, тоненькая талия, высокая грудь, а бедра достаточно широкие, чтобы сулить плодовитость. На ней была голубая мантилья, парчовая шапочка и струящееся газовое платье, почти неприличной прозрачности. Ее грудь все время была приподнята, будто от внезапного изумленного вздоха, намек на ожидание, трогательно сочетавшегося с тревожными опасениями и хрупкостью. Гертруда вглядывалась в нее, ища себя юную, и увидела, что щекам Офелии недостает розовости, а ее волосы, зачесанные от ровного лба, более идеально высокого, чем у Гертруды, не слишком густы и лишены пышности. Они не кудрявились у нее на висках, но оставались послушно прямыми, удерживаемые на месте плетеной золотой лентой. Лицо в профиль было безупречно чеканным, словно на новой монете, однако при взгляде спереди оно таило какую-то смутность — ее широкие голубые глаза смотрели чуть-чуть в сторону. Ее зубы, не без зависти заметила Гертруда, были безупречно жемчужными и ровными.

Узкие бледно-розовые десны придавали им почти детскую округлость и самую чуточку наклоняли их вовнутрь, так что ее улыбка создавала мерцающее впечатление стыдливости, в которой тем не менее как будто пряталась беззаботная чувственность.

Гертруда указала ей на то самое жесткое трехное кресло, в котором сживал Корамбис во время их конфиденциальных разговоров.

— Моя дорогая, — начала она, — как тебе живется? Нас, женщин, в Эльсиноре так мало, что мы просто обязаны доставлять друг другу утешение приятных тет-а-тет.

— Твое величество мне льстит. Я все еще чувствую себя ребенком при этом дворе, хотя знаки внимания, которые последнее время достаются на мою долю, не могут не выманить меня из моего укромного уголка.

Верхняя губка девочки была прелестна, одновременно изогнутая и вовнутрь и кнаружи, как сорванный лепесток розы, и чуть-чуть смятая нежной припухлостью, и выглядела она, заметила Гертруда, очень соблазнительно, когда почти смыкалась с нижней, оставляя открытым треугольничек, за которым смутно поблескивали жемчужные зубки. Ноздри у нее были изысканно узкими — Гертруда всегда считала, что у нее самой они широковаты и ее нос слегка походит на мужской.

— Как женщины, мы не пожелали бы остаться без знаков внимания, тем не менее они способны внушить и тревогу.

— Вот именно, поистине так, государыня. Если в характере Офелии и был недостаток, то избыток кротости, подразумевавший, как это бывает у маленьких детей, сочетание со скрытым упрямством и тайным вызовом. Ее глаза, ничем не походившие на серо-зеленые глаза Гертруды — в минуты страсти темневшие, словно Зунд, — своей светлой голубизной отражали пустое небо.

— Тебе незачем называть меня «величеством» и «государыней», но ты все-таки не можешь назвать меня матерью, хотя я была бы рада заменить тебе мать добротой и советами. Ведь и моя мать умерла рано, бросив меня искать свой путь в мире камня и шума, который поднимают мужчины.

— Твое величество уже даровало мне много доброты. Как я себя помню, ты всегда была ласкова со мной, не скупилась на внимание ко мне, почти никем не замечаемой.

— Моя доброта теперь обретает особую близость. Мне кажется, знаки внимания, о которых ты говоришь, исходят от моего сына. Безоблачные глаза Офелии расширились, но сохранили смущающий повернутый чуть в сторону взгляд, словно сосредоточенный на чем-то невидимом. Как в раздражении выразился король Гамлет? «В мозгу у нее трещинка».

— Кое-какие, — ответила она слишком уклончиво. — С тех пор как Гамлет и Лаэрт вернулись домой на твою... на твою и нового короля...

— Свадьбу. Да-да.

— Они много времени проводят вместе, иногда включая в свое общество и меня.

— Дражайшая Офелия, думается, все как раз наоборот: Гамлет, ища твоего общества, волей-неволей включает в него и Лаэрта.

— Нет, правда, между ними завязалась горячая дружба, ведь у них так много общего! Оба привыкли к более широким просторам, и наша

отсталость и невежество их раздражают.

— Я думаю, пусть ты с положенной скромностью это отрицаешь, за тобой ухаживают, и я этому рада.

— Рады, государыня?

— А отчего бы и нет, дитя? Для тебя это естественно, а ему давно пора.

— Мой брат и мой отец оба не раз предупреждали меня об опасностях, подстерегающих девственность, и наставляли меня знать себе цену и беречь мою честь — их честь.

Гертруда улыбнулась и наклонилась к девушке, словно стремясь ощутить тепло юности, излучаемое ее лицом.

— Но ты... ты находишь трудным столь высоко ценить так называемую честь? Нам ведь она кажется мужской абстрактной выдумкой, во имя которой им нравится надуться спесью и умирать, но которая отгораживает нас от костров любви.

Пока тянулась наступившая пауза, ей казалось, что она выразилась не слишком понятно, но тут Офелия оставила прямую осанку задержанного дыхания и, чуть поникнув в неудобном треугольном кресле, призналась без утайки:

— Принц Гамлет, правда, иногда слишком испытует меня своей настойчивостью. Он кружит мне голову словами, настолько особенными, что кажется, будто за ними прячется безумие. А в следующую минуту мы уже дружно смеемся и я перестаю испытывать непонятное волнение.

— Он вызывает у тебя волнение?

Офелия порозовела, опустила глаза, и Гертруда обрадовалась такому доказательству пылкости ее крови. Подари ей судьба дочь, она бы ее любила, она бы протянула ей направляющую руку в бурях чувств, к которым так склонен ее пол, и привлекла бы к себе без всякого сопротивления — в отличие от отбивающегося и вырывающегося сына. Гертруда волей-неволей чувствовала, что в роли матери Гамлета она потерпела полную неудачу, однако с помощью этой будущей жены, возможно, ей еще удастся совладать с ним.

— Порой, — объяснила Офелия, — его похвалы кажутся насмешками, уж слишком многого они требуют от меня. Он цитирует стихи и даже сам их сочиняет.

— Клавдий тоже прибегает к стихам, — осмелилась признаться Гертруда. — Мужская натура разделена значительно больше нашей. В уме они из болотной грязи возносятся на горные вершины и не признают ничего посреди. Для оправдания требований своего тела они непременно должны превратить предмет этих требований в богиню, неправдоподобно возвышенную, или же обходиться с ней как с комком грязи. У моего сына яркое воображение, с детства его чаровала актерская игра, и если он в совершенстве изображает влюбленного, из этого вовсе не следует, будто он фальшивит в своей игре.

— Так рассуждала и я сама. Гамлета я изучала с тех самых пор, когда была лишь парой глаз на узловатых стебельках. Мне не было и десяти, когда ему исполнился двадцать один год. Он казался мне, как и всем, кто его видел, идеальным принцем — изысканно одетым. Безупречным в манерах и речи, воплощением благородства до кончиков ногтей. Но теперь, ухаживая за мной, он, мгновение тому назад блистательный, исполненный ласковости, вдруг проявляет почти отвращение, словно в разгар любезностей его вдруг охватил ужас, заставляющий оборвать галантные излияния, и он уходит без слова

прощания. Он то темно велеречив, то грубо откровенен и не скрывает, что теперь считает моего отца потерявшим разум стариком, который всегда и во всем искал своей выгоды.

— А что он говорит о своем дяде, моем муже?

— О нем, государыня, он со мной не говорит.

Гертруда усомнилась — слишком уж быстро последовал ответ, — но вернулась к главному предмету их разговора. Как далеко продвинулось ухаживание. В ослепительном портрете, набросанном Офелией; она не узнала своего угрюмого отчужденного сына, который, на ее взгляд, унаследовал некоторую толику землистой одутловатости своего отца. Впрочем, для торжества любви Офелии было лучше оставаться полуслепой.

— Ты говоришь, он словно бы смеется над тобой?

— Среди многих изъявлений нежности и обычных клятв.

Гертруде не понравились эти «изъявления нежности». Или Офелия уже рассталась с тем, чего назад не выменять? Хватило ли у нее женского ума подвергать влюбленного испытаниям, повышая свою цену в его глазах? Или в своей распаленной невинности она отдала ему высший залог своего тела? В этой эфирной красоте, этом платье-паутинке ощущался какой-то странный запах, что-то чуть тлетворное. Она взяла руку Офелии, беспокойно подергивавшуюся на коленях девушки. Гертруду удивила влажность ладони, холодной, липкой.

— Дитя мое, — сказала она с глубокой искренностью, — насладись годами своей юности, они быстро минуют. Следуй велениям и своего сердца, и своей головы, когда сможешь. Если мой сын и его загадки и его капризные настроения вызывают у тебя смятение, а не радость, не оставайся с ним ради угождения твоему отцу или твоей королеве.

— О, папа очень тверд в том, что я должна оценить себя высоко, однако, мне кажется, этот брак принесет ему немалые выгоды.

— Твой отец стар. Он уже получил достаточно всяких выгод. А получаемые тобой принадлежат тебе. Мужчины, — сказала Гертруда, забывая о стратегии в порыве сестринского чувства, — мужчины — это красивые враги, среди которых брошены мы. Без женской уступчивости мир не мог бы существовать, а они смотрят косо на нашу уступчивость, видя в ней семена хаоса, неустановленного отцовства. Раз мы были уступчивы с одним мужчиной, рассуждают они, то уступим и другому. Желание быть приятными мы, увы, всасываем с молоком матери.

Гертруда чувствовала, что лицо у нее начинает гореть, но пыталась сохранять спокойное выражение, понимая, что открыла больше о себе самой, чем позволительно женщине, кроме разве что матери, — и притом только в разговоре с дочерью.

Офелию, однако, занимало только ее собственное положение. Она воскликнула:

— Ах, но я никого, кроме Гамлета, не хочу! Я никогда не полюблю другого, как люблю его! Если он меня покинет, я найду приют в монастыре, где жизнь не бушует столь яростно.

«Покинет» — не слишком ли сильно, если она сберегла чистоту?

Впрочем, если смотреть на вещи трезво, так Гамлет, если он и правда вкусил от этого лакомого кусочка больше, чем позволяет мораль, то мог лишь оказаться на крючке еще крепче. Хотя этот разговор внушил ей некоторые опасения относительно здравости рассудка Офелии,

королева осталась при мнении, что Гамлету следует жениться на ней. Женитьба ведь станет наилучшим противоядием против его бесплодного эгоизма, а также ограничением свободы поступков и капризов, в которой Клавдий увидел угрозу для себя. Брак приковывает нас к установленному порядку. Она отпустила вялую изящную руку с тонкой сетью зеленовато-голубых жилок на запястье и обратной стороне ладони.

— Ты так сильно любишь Гамлета?

— Всем сердцем, государыня, даже когда он колоч со мной и твердит о женском непостоянстве.

Гертруда напряглась:

— А, так вот о чем он твердит!

— Да, и о нашей податливости распаленной плоти.

— Как я сказала, наша податливость — это их спасение. И порой они даже не забывают о благодарности.

— Гамлет бывает неизъяснимо нежным, будто я могу разбиться.

— О? И когда же?

Розовый лепесток верхней губы Офелии задумчиво вздернулся.

Она опустила веки на пустое небо своих глаз, а потом подняла их, чтобы сказать:

— Все время, пока мы вместе, если только он не думает о ком-то неназываемом или о нашем женском поле как таковом. Он говорит, что ненавидит род человеческий, но любит некоторых из тех, кто к нему принадлежит.

— Переизбыток немецкой философии, — поставила диагноз Гертруда. — От нее свертываются простота и ясность. — «Кто способен не полюбить эту безыскусственную красавицу, спросила она себя, если он в здравом уме?» — Ты стала ближе моему сыну, — сказала она Офелии, — чем была я с тех пор, как носила его под сердцем.

— Поверь, я буду лелеять эту близость и никогда не причиню ему никакого вреда.

Гертруда уловила легкое самодовольство в этом заранее готовом ответе.

— Я боюсь не за него, моя дорогая, но за тебя. Обходись с ним так, как тебе подсказывает твоя натура, но не пренебрегай и инстинктом самосохранения. И у тебя, и у него впереди еще долгая жизнь. Любить хорошо. Настолько, что следует растягивать каждый шаг вперед и удерживаться от увенчания в долгом предвкушении. Для мужчин любовь — это часть их ожесточенных поисков красоты; для нас, более мягко, это вопрос самопознания. Она узнает нас изнутри. Не сочти, будто я смотрю на мужчин с осуждением, и вспомни, что я — новобрачная и не променяла бы свое счастье на все посулы Небес.

— Как желала бы я быть такой же мудрой и доброй, как ты, государыня! Если когда-нибудь мне будет дано назвать тебя матерью, это слово скажет само мое сердце.

— А я сердцем услышу его, — сказала королева и засмеялась собственным слезам, когда они упали в объятия друг друга, и их движения наполнили маленькую комнату благоуханием.

Полоний встретил королеву в галерее, где квадратики мозаики эхом повторялись от пола и до бордюра под потолком.

— Твоя беседа с моей дочерью очень утешила ее и ободрила.

— Она ангел! Будь у меня дочь, какие пылкие разговоры мы вели бы! Однако если она нуждается в утешении и ободрениях от других, это не очень хорошо характеризует галантность моего сына.

— Она молода, гораздо моложе него и...

— Она моложе него немногим больше, чем я была моложе покойного короля.

— И находила его равнодушным и пренебрежительным, как ты признавалась мне куда чаще, чем мне хотелось слышать.

— Неужели так уж часто? Я старалась держать свои обиды при себе. И уж конечно, они не были такими горькими, как намекают твои обобщающие определения. Он был занят делами королевства, а я, быть может, слишком много думала о себе.

Как ей хотелось, чтобы старик перестал ссылаться на ее давно запылившиеся признания и их былые сговоры. Оказавшись в долгу у него, уже не выбраться.

— Моя дочь молода и нежна, как я сказал, — продолжал Полоний, — а он пользуется своим саном и меланхолией, чтобы давать волю своим мрачности и изменчивости, лавируя, так сказать, взад и вперед, слишком уж грубо поигрывая кормилом для девы, возвращенной в тиши безмятежного целомудрия. Да, Лаэрт как юноша не ограждался от соблазна трактиров, веселых домов и игорных притонов, а мой слуга Рейнальдо присматривал, чтобы его синяки не превратились в раны.

— Беда воспитания женщины в том, — заметила Гертруда, — что оно дается ей сразу, едва девичья добродетель сменяется у нее добродетелью жены. От нее требуют, чтобы за одну ночь она перешла от полной невинности к полной умудренности.

Старик остался глух к ее намекам, все более разгораясь.

— Добродетель — вот все, чего стоит женщина, — сказал он. — Добродетель — вот с чем она выходит на рынок. Принц играет с Офелией, и я должен отдернуть ее. Их уединенные беседы будут прекращены до тех пор, пока его изъявления нежности не обретут больше весомости. Ей требуется передышка от надменной едкости Гамлета.

— Отдерни ее, и, возможно, Офелия так и останется у тебя на руках.

— Не принижай ее настолько! Отдаленность от нее раздует искру его огня в пламя, горящее так ровно, как требуется. Офелия — это новая Магрит во всей свежести, которой выкидыши лишили ее мать, и добавь еще ту сверхъестественную грацию, которую она, наверное, заимствовала у лесных цветов. Ты когда-нибудь слышала, как она поет?

— На пирах и зимних праздниках еще с тех пор, когда она была девочкой. Голос чистый, но слабый, а когда она слишком его напрягает, звучит надтреснуто.

— Божественный голос, но, конечно, всякого напряжения следует избегать. Моя королева, не страшись, что брак, которого мы оба желаем, не состоится. Небольшая насильственная разлука только даст принцу время поразмышлять о достоинствах моей дочери.

Гертруда с нетерпеливым раздражением угадала веру одряхлевшего камерария в то, что достаточно умелый кукольник может управлять и манипулировать человеческими делами с помощью шестеренок и винтиков, будто мельничными колесами или часами.

Сама она ощущала в делах людей приливы и отливы, естественные и сверхъестественные. И мудрость должна покоряться им, ища победу в капитуляции. Молодых влюбленных, казалось ей, следует без вмешательства оставить в тисках желаний, чтобы они вознеслись высоко над лабиринтом, сооруженным старшими. Но она знала, что и Полоний, и Клавдий, высказав ей это вслух, назовут ее сентиментальной, неразумной, оставляющей все на инициативу Бога, будто закоснелая в предрассудках крестьянка или неверный магометанин.

Дряхлый советник наклонился еще ближе к ней и сказал доверительно:

— По моему мнению, и не только моему, ему сильно повредило, что никакой его каприз или желание не встречали отказа. Он вырос, государыня, без всякого понятия о дисциплине.

Он говорил о ее крошке Гамлете. И в желании защитить сына пробудилась ее давно заснувшая материнская любовь. Право сомневаться в ее материнской заботливости принадлежало только ей и никак не этому старикашке. Она возразила:

— Нам казалось, он в ней не нуждался. Его ум и язык были более быстрыми, чем у его отца и у меня и предвосхищали наши мысли о воспитательных мерах. Когда им занялся король, я утратила связь с ним и могла лишь любоваться с почтительного расстояния.

— Король был строг и властен, мальчику он представлялся богом в доспехах и на боевом скакуне. Йорик более кого-либо заменял отца юному Гамлету, но был всего лишь пьяным плутом и мог наставлять только в шалостях и всяких неразумных проделках.

— Ты говоришь так, словно облюбованный тобой зять тебе не нравится.

— Это он меня недолюбливает.

— Ему нелегко испытывать к кому-нибудь привязанность. Он сразу видит в человеке слишком много разных сторон. Но король великодушно возлагает на него большие надежды и начинает его любить. Он верит, что сможет настолько обворозить Гамлета, что он окончательно вернется ко двору, и наше правление станет неуязвимым.

— В нашей стране, исполненной смутами и тайными изменами, которые питаемы былыми резнями и старинной кровавой враждой между знатными родами, уязвимо, государыня, любое правительство. Однако если кто и может навести порядок, то только Клавдий. Я уже обязан ему жизнью.

— Жизнью?

Как странно, что старики так ценят свою жизнь, которая в глазах остального мира выглядит гнилым обручком, лохмотьями, не годящимися даже для перочисток.

— Я о том, твое величество, что мое положение, мой ранг, самая моя жизнь неразрывно связаны с привилегиями, положенными камерарию. Но, поверь мне, когда потребовалось великое мужество, король помог нам обоим способом не обязательно явным.

Она растерялась. Видимо, какая-то тайна... Пол галереи дыбил перемежающиеся мозаичные квадраты и грозил разверзнуться у ее ног, а Полоний все молот языком, пытаюсь закрыть провал, который так неуклюже открыл.

— А! — бормотал он. — Мы вместе прошли длинный путь, государыня. Припомни тот солнечный холодный день, когда я пробежал двенадцать лиг по выпавшим за ночь сугробам, дабы

официально засвидетельствовать пятна крови на твоих брачных простынях. И они были на них, я своеглазно видел, что были. И с тех пор, как и раньше, ты ничем не запятнала королевскую честь. Думал он о своей дочери, о ее девстве, сохраненном или уже отданном.

— Источать кровь, — сказала Гертруда, — для женщины не такое уж великое свершение.

— В некотором смысле и правда не такое. Под всей мишурой миром правит кровь. Или ее отсутствие, пока взамен наследника престола есть только упования. Но довольно, я заболтался до нескромностей. — Он поправил высокую коническую шляпу, которая все менее крепко сидела на его голове по мере того, как прямые, желтоватые, цвета свечного сала, волосы все больше редели, а жировая прокладка, придававшая голове сходство с тыквой, все больше сохла.

«Мы начинаем маленькими, вырастаем в больших и усыхаем, — подумала она. — Мир сбрасывает нас со счетов прежде, чем мы успеваем приготовиться к этому».

— Я просто хотел предостеречь тебя, государыня, — продолжал трещать Полоний, — чтобы ты поняла, когда услышишь, что я просил Офелию быть скупее на общество девичье ее и избегать уединения с его высочеством принцем Гамлетом, так только ради увенчания надежд на их брак, которые мы разделяем.

— Она твоя дочь и в полном твоём распоряжении, — сказала Гертруда, стараясь положить конец этому неприятному разговору. — Уповаю, твой запрет подействует в соответствии с твоими расчетами.

Все эти размышления и старания, которые мир посвящает размножению, будто мы простой домашний скот, были не только непристойными, но и докучными. Если чувства принца достаточно сильны, он разнесет любые преграды, поставленные на его пути. Эта проверка его воли к любви заставила ее ощутить родство с сыном, упомянуть про которое она не могла. Бедный мальчик, как и она рожденный под мелко мелящими жерновами Эльсинора! Она бродила по замку, словно должна была после целой прожитой в нем жизни расстаться с ним. Оплакивала маленький брошенный солярий, где она когда-то играла с тремя своими тряпичными куклами под надзором клюющей носом Марлгар; и смотрела вдаль на зелено-серую ширь Зунда в белой ряби льдин и кудрявых барашков через окно, к которому так часто поднимала усталые глаза от пялец или блестящего пергамента романа о Ланселоте и Гвинерве или о Тристане и Изольде, от сказаний и *chansons* [17] про прелюбодейную, но каким-то образом священную и бессмертную любовь.

Когда она в последний раз бралась за вышивание? Вышивка на ее пальцах, часть покрывала для алтаря часовни, была отложена еще до смерти короля. Фон был расшит золотой нитью, а изображала вышивка по наброску самой Гертруды Марию Магдалину на коленях перед воскресшим Христом. Длинные волнистые волосы из параллельных перемежающихся черных и коричневых стежков целиком скрывали ее тело, кроме розового колена, вышитого гладью, склоненного бледного профиля с опущенным веком и руки, поднятой, словно для защиты от благословляющего жеста Господа в белом одеянии. Его очертания были переведены углем с изображения на пергаменте и ожидали цветных стежков. Но в те месяцы ее мысли были заняты любовником и мужем и она не могла сосредоточиться еще и на третьем мужчине,

пусть вышем из высших. Она, правда, начала вышивать его стопы, выделяя каждый палец чуть грубоватой елочкой. Девочкой она гордилась своим умением протыкать в стежке нитку — снова, и снова, и снова, но уже много лет назад кончик иглы начал туманиться, раздваиваться, и ее глазам все чаще требовалось отдыхать на тусклых деталях, уходящих к Скане. А теперь ей не верилось, что душевный покой когда-нибудь вернется к ней настолько, чтобы она могла вновь склоняться над пальцами под мелодии флейт, держа иглу недрожащей рукой, пока ее придворные дамы шушукаются, обмениваясь сплетнями.

Гертруда бродила по замку, оглядывая сводчатые галереи и винтовые лестницы, окна со скошенными подоконниками, расположенные там, где никто не мог бы выглянуть из них, смрадные нужные чуланы, выступающие над рвом, часовню, которая, казалось ей теперь, отличалась куда меньшим благолепием, чем в полуязыческие дни короля Родерика, парадную залу, видевшую оба ее свадебных пира, где с высоких балок свисали выцветшие истлевающие знамена, взятые в битвах или поднесенные в знак покорности, а на стенах висели разделенные на четверти щиты с яркими эмблемами всех провинций Дании, ее островов и городов с кафедральными соборами. Хотя второй месяц царствования Клавдия был уже на исходе и он утверждал свою власть ежевечерними пирами и ежедневными аудиенциями, шумным празднованием и тщательно обдуманной прокламацией, Эльсинор во всех углах своего каменного лабиринта от самых нижних темниц до самых высоких парапетов все еще по ее ощущениям принадлежал королю Гамлету.

Со времени ее бракосочетания с другим она думала о нем чаще, а не реже, как могла бы предположить. Именно теперь, когда преступление супружеской измены и сладострастная лихорадка обмана равно ушли в прошлое, погребенные под новым святым обрядом бракосочетания. Быть может, безмолвные упреки ее сына были справедливы — его подчеркнутое отсутствие на придворных церемониях и празднествах, его обличающий траурно-черный костюм. Слишком рано! Пусть ее жених и выдвинул неопровержимые доводы, что-то осталось неоконченным, непроверенным. Она все время ждала увидеть своего бывшего мужа, как видела его еще совсем недавно — за поворотом коридора, с оплывшим от сна лицом возвращающегося из яблоневого сада через низенькую дверь или тяжелым шагом в полном вооружении входящего во двор после каких-нибудь воинских упражнений, отфыркиваясь под стать взмыленному коню в упоении своего все еще сильного тела. И занимали его не только мирские дела — она встречалась с ним, когда по длинной галерее он возвращался из часовни, где искал у Бога поддержки в управлении Данией. Клавдий, заметила она, редко искал такого благочестивого уединения; он не исповедовался, а когда во время мессы наступала его очередь причащаться, казалось, содрогался, будто вынуждаемый хлебнуть отравы, которой не мог отклонить, так как взгляды всех присутствующих были устремлены на него, а бледные руки священника настойчиво подносили ему чашу и облатку — облатку круглую, как белое окно над алтарем.

В ощущениях Гертруды король Гамлет почти обрел реальность и дразнил все ее чувства, кроме зрения: ее уши будто слышали шорох одежды, шаги, подавленный стон; нервы и волосы ее шестого чувства пульсировали и вставали дыбом, словно от невидимого легкого

прикосновения, хотя в коридоре не было ни сквознячка; и никакая только что задутая свеча или только что разведенный огонь не могли быть причиной вдруг возникшего запаха горения, дыма, палености, обугливания. И на все это накладывалось ощущение боли. Казалось, он — менее, чем призрак, но более, чем просто пустота, — выкрикивает ее имя в агонии — ГЕРУТА, как она звалась в незапамятные времена. Ее томил тревожный ужас, и она часто оставалась одна, потому что Герда была уже почти на сносях и из-за возраста беременность переносила тяжело. А Гертруда не желала, чтобы случайная спутница, какая-нибудь глупая девчонка, присланная каким-нибудь провинциальным правительством шпионить, сопровождала ее в блужданиях по Эльсинору. И потому не было рядом с ней никого, кто подтвердил бы игру ее воображения, когда она остановилась почти задушенная раскаленной, хотя и ледяной рукой, которая легла ей на лицо.

Что нужно от нее мертвому Гамлету? Всевидящий из-за могилы, он теперь знает ее грехи, каждое упоенное бесстыдство, каждый любовный крик. Но, с другой стороны, разве очищающая влага Небес не смывает всю грязь этого мира? Блаженно упокоившиеся не преследуют живых; только проклятые, прикованные к падшим живым, а ее покойный муж был образцом добродетелей, зеркалом царственности. «Но он все еще хочет, чтобы я принадлежала ему», — нашептывала ей интуиция; король любил ее, всегда любил, и ее, — супружеская измена, которую он среди своих королевских занятия при жизни проглядел, теперь терзала его так, что она ощущала запах его горячей плоти и почти слышала его приглушенный голос.

Неестественные мысли! Она пыталась подавлять их. Гертруда всегда была способна полагаться на естественное, доверять очевидному — тому, к чему она могла прикоснуться: крашеным ниткам своего вышивания, легким метелочкам трав с семенами; и предоставляла Церкви то огромное мощное сооружение, которому природа служит лишь фасадом, видимой частицей, авансценой мимолетных спектаклей. Безоговорочно и повсюду священнослужители объявляли скорбную, кричаще яркую землю всего лишь прелюдией к вечной жизни за гробом, в которой Иисус, и Моисей, и Ной, и Адам будут сиять вниз отраженным светом, будто каменные головы в соборе, слепяще озаренном свечами молящихся. Теперь естественное будто слегка отдернулось, и она смутно ощущала погоню за собой. В опочивальне она пыталась описать Клавдию свои чувства, не упоминая ни имени мужа, ни своих подозрений, что Гамлет, мертвый Гамлет, пребывает в замке, предъявляя свое право на нее.

Даже Клавдий испытывал подозрения — он распорядился, чтобы после свадьбы они не легли в кровать, в которой она спала с Гамлетом, а спали бы в другом солярии королевских покоев, в венецианской, инкрустированной слоновой костью кровати, которую целый долгий день везли в повозке из Локисхейма. По привычке она не раз, встав ночью, потом брела к своей прежней опочивальне и наталкивалась на запертую дверь. Она сказала Клавдию:

— Я счастлива, я благодарна, я всем довольна, и все же, милый, что-то не дает мне покоя, тревожит меня.

Он сказал рассудительно:

— Ты пережила несколько потрясений: внезапно стала вдовой, а затем скоро вновь женой. — Тон его был более здравомыслящим, и

хотя и ласковым, но более бесповоротным, чем ей хотелось бы. — Твоя субстанция менее упруга, чем прежде, — добавил он.

Не упрек ли это? Может быть, он уже сожалел, что владеет ее стареющей субстанцией, которую возжелал, когда она была много моложе?

— Ну и еще меня тревожит Герда. Она выглядит такой унылой и павшей духом, а младенец будет приветствовать солнце менее чем через месяц. Меня удивляет, что он вообще растет. Она думала, что Сандро любил ее.

— И любил, когда говорил, что любит. Потом испугался последствий своей пылкости. У нее нет причин тревожиться из-за своего ребенка. Расходы на Эльсинор стерпят прибавление еще одного рта. Если она перестанет любить дитя, оно умрет.

— Ты говоришь с такой абсолютной уверенностью.

— Без любви мы умираем или в лучшем случае живем искалеченными. — Для убедительности он крепко поцеловал ее в губы. Он все еще выказывал все признаки любви, опровергая ее убеждение, что страсть мужчины угасает, когда узаконивается.

— Ты испытал это в Ютландии? — спросила она.

— Там было холодно. Мы обходились лишь половинкой положенного.

— Я тоже обходилась половиной после того, как моя мать умерла, когда мы только-только начали понимать друг друга. Мне было три года.

Она увидела, что он сдерживает раздражение, которое вызывают у мужчин подобные копания в чувствах и в прошлом, которое невозможно вернуть.

— В три года, — сказал он, — полагаю, твой здравый смысл и храбрость уже сложились. Твоя мать тебя любила, и ты цвела. И все еще цветешь в моих глазах.

Он услышал собственные слова и пристально посмотрел на нее. Под его торжественным темным взглядом она не могла не улыбнуться. Он сказал:

— Я смотрю на твое улыбающееся лицо, и во мраке мира появляется разрыв, что-то лучше струится в него из... откуда-то еще.

«Tant fo clara, — цитировал он, — ma prima lutz d'eslir lieis don ere crel cors los buoills». — Таким ясным он сделал все, мой первый проблеск в выборе ее, чьих глаз мое страшится сердце.

Столь романтическое признание заслуживало объятия, поцелуя, возвращенного его губам — губам, когда-то столь полным силы в своей прекрасной лепке и до сих пор способных взволновать ее, привести в возбуждение. Однако она не могла прекратить поиски того неуловимого, чего не хватало для их спокойствия. Подобно спущенной петле, из-за которой может распуститься весь рукав.

— Ты помог Сандро уехать тайно?

— Нет, — решительно заявил Клавдий. — Его бегство удивило меня не меньше, чем Герду. Я верил в его преданность. Что доказывает: доверяй только датчанину, но и тогда будь настороже.

— Но ведь ему требовались деньги, даже если он ушел пешком.

Ночлеги, еда и взятки на каждой границе для каждого немецкого князька.

— Милая, к чему такая озабоченность? Я вернул бы Сандро, находишь он в пределах моего королевства. Но он его покинул до того, как оно стало моим.

Что-то в этом — точное указание времени, гордая ссылка на обретенную власть — подогрело ее тревогу. Навертывающиеся слезы согрели глаза, обожгли горло.

— Просто бедная Герда, подражавшая нам, теперь несет это бремя, а мы имеем... только счастье.

— Да. И во всяком случае для меня это великое счастье. Мы не просили Герду и Сандро подражать нам.

— Мы создали атмосферу вседозволенности, — продолжала она, смешивая слезы и голос в вырвавшейся наружу боли, — а теперь она терпит последствия.

— Мне кажется, моя дорогая, ты становишься...

— Каким-то образом ты отгородил меня. Есть вещи мне неизвестные! Полоний говорил мне, что ты спас ему жизнь, но отказался объяснить, как именно. Намекнул, что и я должна быть тебе благодарна. Но за что? То есть кроме того, что ты меня любишь и вновь сделал королевой?

Клавдий напряженно нахмурился, и на фоне потемневшего лица еще сильнее выделилась белая прядь над виском.

— Боюсь, наш верный друг и советник действительно становится слишком стар. Он теряет нить рассуждений, роняет таинственные намеки. Мой брат был прав — камерарию пришло время удалиться на покой.

Она воспользовалась случаем согласиться с ним, не желая, чтобы пропасть между ними стала шире.

— Да, он затевает кутерьму по всякому поводу. Хочет запретить Офелии видаться с Гамлетом в надежде упорядочить его ухаживания. Опасается, что она переспит с ним и уронит себя в его глазах.

— Насколько это вероятно?

Такая вспышка напряженного интереса на мгновение лишила ее слов.

— Не знаю, — растерянно призналась Гертруда. — В ней есть какая-то странность. Гамлет — твой брат — это заметил. Он не считал, что она подходит нашему сыну. Он хотел найти ему в невесты русскую принцессу.

Ей было неприятно говорить о своем покойном муже, но ведь Клавдий сам упомянул о нем, привел его в комнату.

— Я хочу, чтобы Гамлет был возле нас, — сказал Клавдий.

Она не сразу поняла, что он имеет в виду молодого Гамлета.

— Но почему? — дала она волю честному, противоестественному, нематеринскому чувству. — Он наводит такой мрак!

— Он придаст нашему дворцу необходимое единство.

Троичность. Народу не нужен принц-наследник, который вечно отсутствует. И в любом случае он мне нравится. Мне нравятся молодые люди, которым не нравится Дания. Мне кажется, я его понимаю и могу ему помочь.

— Да? И как же?

«Уж эти короли!» — подумала она. Они не переставали удивлять ее блаженными претензиями на всевластность.

— Он, по-моему, винит себя в смерти отца, — без запинки объяснил Клавдий. — Чувствует, что навлек ее, возжелав тебя.

— Меня? Он избегает меня и всегда избегал.

— В том-то и причина. Ты для него, дорогая, слишком уж женщина, слишком уж теплая для его спокойствия. И он укрылся в холодности, идеализируя своего отца и погружаясь в немецкую

философию. Он любит тебя, как я, не может не любить тебя, как любой мужчина с глазами и с сердцем. И мы с ним разделяем еще одно: над нами всегда тягостен человек один и тот же, человек пустой внутри, несмотря на всю его страсть к славе. Молот был угнетателем, и ты ведь тоже это чувствовала, не то бы не предала его.

— «Предала» — слишком уж жестоко! Дополнила его, вот как казалось мне. Дополнила его тобой из-за твоих непрерывных настояний. Милый, ты несправедлив к своему брату. Эта тема уводит тебя от действительности. У вас с ним много... у вас с ним было много общего, и это еще заметнее теперь, когда ты король.

— Мой брат всегда неприятно напоминал мне Ютландию, эту приниженность пейзажа, трясины, и туманы, и вереск, и овец, и валуны, изо дня в день думающие одни и те же мертвящие мысли: как они довольны быть тем, что они есть, в самом продуваемом ветрами центре вселенной. Но это прошлое. Вернемся к теме. Я хочу, чтобы ты любила Гамлета. Гамлета, своего сына.

— Но я люблю, неужели нет?

— В более откровенном настроении ты признавалась, что нет. А теперь попытайся начать снова. Привечай его, будь нужна ему. Не полагайся на то, что незрелая девочка сделает за тебя все, что необходимо для его возрождения. Перестань его бояться, Гертруда.

— А я боюсь его! Да, боюсь.

Признание, в котором внезапно запылал весь ее ужас, выбило Клавдия из колеи, но он продолжал прохаживаться по опочивальне, разоблачаясь и ораторствуя, как было в обыкновении у короля Гамлета.

— Но чего тут бояться? Он всего лишь приносит нам тоскующее сердце, моля об исцелении. Он знает, что его будущее здесь.

— Я боюсь войны, которую он несет в себе. Ты и я, мы заключили мир на условиях, которые допускала трагичность обстоятельств, и Дания мирно возвела тебя на престол. Мой сын с его ночным цветом лица и перечно-рыжей бородой может все это опрокинуть и разметать.

— Как? Этот мальчик? У него нет ничего, кроме надежд на будущее. Власть принадлежит нам, чтобы делить между собой. У меня нет сына, но я уповаю стать отцом твоему.

Она уступила, как было ей свойственно.

— Твоя надежда великодушна и полна любви, господин мой; она заставляет меня устыдиться. И заставила бы устыдиться Гамлета, знай он. Я буду рада следовать за тобой и попытаюсь стать настоящей матерью.

Она, уже когда разговаривала о Гамлете с бедной влюбленной Офелией, почувствовала возвращение теплой нежности, будто устраивая его брак, она вновь носила его в себе, «под моим сердцем» сказала она тогда. Ее досада из-за особой связи с отцом, которую он твердокаменно хранил, начинала рассеиваться, а с ней и сомнения в своей материнской полноценности. Благодаря своему нежному жалостливому общению с Офелией, она поняла, что вражда между поколениями необязательна, как ни нетерпеливо ждет молодежь гибели стариков. И все-таки...

— И все-таки, милый муж, почему меня мучает этот страх?

Клавдий засмеялся, обнажив волчьи зубы в гуще мягкой бороды.

— Ты обрела, моя милая Гертруда, то, с чем мы, остальные, рождаемся или чем обзаводимся очень скоро после рождения — душевную тревогу. Ты всегда чувствовала себя в этом мире как дома. Эта тревога, эта вина за первородный грех наших праотцов, есть то,

что призывает нас к Богу из глубин нашей кощунственной гордости. Это вложенный Им в нас знак Его космического царствования, чтобы мы не вообразили себя венцом вселенской иерархии. — Он снова засмеялся. — Ах, как я люблю тебя, твой настороженно-осторожный взгляд, когда ты стараешься понять, сколько из того, что я наговорил, я наговорил, чтобы подразнить тебя. Да, я подразниваю, щекочу, но перышком правды. Всю мою жизнь меня грызло ощущение, что я лишь полчеловека или тень подлинного человека. Но это позади: ты одела меня плотью. «Я у нее в услужении, — говорит поэт, — „del re tro c'al soma“, от моих стоп до волос». Ну-ка, жена, дай мне увидеть, как ты раздеваешься. В Византии, — продолжал он с широким жестом учителя, — в пустынном краю, вне досягаемости властвующих иконоборцев и лицемерных монахов, руины тысячелетней давности подставляют солнцу столпы провалившихся кровель и разбитые статуи обнаженных женщин — быть может, богинь, более древних, чем неповиновение Евы. Ты их сестра. Твое великолепие льет бальзам на мой смятенный дух; творение, в котором есть ты, жена моя, должно дарить спасение и самому черному грешнику. Ты моя добродетель и мой недуг, от которого мне нет исцеления.

— Ты все невероятно увеличиваешь, господин мой, — возразила она, но продолжала раздеваться. Воздух опочивальни окутал ее пленкой холода, и ее соски напряглись, а светлые волоски на руках вздыбились. Он впивался в нее взглядом, и его голос, его жесты стали совсем фантасмагоричными.

— Взгляни, ты дрожишь, твою шею и плечи заливают румянец до самой грани твоих грудей, столь безумно сотрясающей Небеса звучит моя хвала! О нет. Она честна. Ты делаешь меня честным. Ты — единение души моей, как выражают это еретики-трубадуры. Мы оставили красоту позади, может сказать юность мира, но наши чувства клянутся в ином. Гертруда, я буду меховой полостью, брошенной под твои босые ноги. Я согрею ледяную постель моими пылающими старыми костями.

И она увидела проблеск красоты в его разжиревших икрах, и затемненных волосами ягодицах, и в подпрыгивающем встающем члене, когда он нырнул под одеяла, а зубы в бороде стучали, пока ступни нащупывали горячие, обернутые тряпицами кирпичи, которые прислужники положили в кровать. Она страшилась и за себя, и за Клавдия — страшилась, что их страсть может не выдержать перехода от полного страхов безумия адюльтера к спокойной безопасности законнейшего брака, но она выдержала. Вот так они показали себя и крепкими, и достойными всех тревог и трудов совокупления. Быть в постели с Клавдием значило встретиться с собой, пришедшей издалека, — безыскусное и радостное воссоединение.

Король был в превосходном настроении. Прошлая ночь была студеной с беспощадной россыпью звезд — осколочков льда, но утром напоенный солнцем ветер фонтанами брызг сбивал пену с барашков на Зунде, и по Эльсинору разносились звуки хлопотливой суеты. На это утро дня святого Стефана была назначена торжественная аудиенция, и какая бы неизбежная тревога ни терзала его душу, какое бы черное раскаяние ни напоминало о флакончике с отравой, которую он вылил в ухо спящего брата (восковая дырка в центре вселенной, казалось,

жаждала испить, всосать самый зенит с неба), — все эти призраки прогнал солнечный свет, который заливал парадную залу, и огонь в двух огромных сводчатых очагах бледнел от солнечных лучей, врывавшихся из двух высоких ничем не загороженных окон под потолком. Небо сияло незапятнанной голубизной: чище совести святого. «Все очищается, — подумал Клавдий, — под колесом Небес». Со смерти его брата прошло два месяца и месяц с того дня, когда он с дерзкой поспешностью взял в жены вдову короля Гамлета. Первые слова, произнесенные перед собравшимся двором, будут обращены на эти два непредвиденные события и, изложив их правдиво, но тактично, спровадят таковые в область истории, как краеугольные камни фундамента его царствования. Он напомнит своим советникам, что поступал с их одобрения; он признает, что, пожелав вступить в брак столь скоро, был вынужден вытерпеть борьбу разума с природой, но ведь в конце-то концов он, Клавдий, жив и должен был помыслить не только с мудрой скорбью о покойном милом брате, но и о себе. Жизнь обрамлена такими спаренными противоречиями.

Искусно и с чувством сбалансированное начало это с упоминанием веселия над гробом и причитаний на свадьбе, уравновесив радость и горе, послужит подачкой Гамлету, который всячески выставлял напоказ свой траурный костюм и многими публичными вздохами и как бы про себя сказанными фразами сомнительного вкуса, давал понять всем и каждому, что возмущен поспешностью, с какой его мать уступила настояниям его дяди. Клавдий был способен холодно признать, что между ним и его племянником, а теперь к тому же еще и пасынком, может возникнуть неумолимая вражда, но пока необходимо было приложить все усилия к примирению, как поступают с раскапризничавшимся ребенком: пропускают мимо ушей незрелости неуклюжие оскорбления и широко раскрывают объятия родительского снисхождения.

Еще он напомнит своим слушателям о том, что Гертруда не королева, благодаря случайности брака, но тесно связана узами крови с датским престолом как поистине «наследница воинственной страны» — многозначительное выражение, резонанс которого уловят те, кто затаил мысли, будто его права на трон были слабыми, а выборы противозаконными из-за их нахрапистой спешки. И Полония он должен в открытую теснее связать со своей королевской властью — так тесно, как сердце связано с головой или рука со ртом, этого камерария, служившего двум высокочтимым предшественникам короля.

Хитрого старого придворного с его изворотливым умом и болтливостью необходимо публично заверить, что его услуги ценятся по-прежнему, и можно дать понять, что не только они, но и его сообщническое молчание. Если Полония отправить на покой, пришла Клавдию в голову неприятная мысль, то покой этот должен быть покоем могилы, а не какого-либо промежуточного места отдыха, вроде уютного дома над Гурре-Се, где он может поддаться соблазну продать свои тайны ради возвращения к власти. Убийство и узурпация, увы, столь крепкие кислоты, что грозят растворить бочку, в которой запечатаны.

Однако пока необходимо успокоить двор и — расширяющимися кругами — страну и народ. Хотя он ощущал, что держит скипетр надежно, но, по мнению толпы, его рука дрожит. Приготовления к

оборонительной войне, которую навязывает Дании нахальный щенок Фортинбрас, тщась воплотить в себе воинственный дух своего отца, наполняли даже праздничный воздух ударами молотов, кующих секиры, и шумом оснастки кораблей. Серьезные дела покачивались на грани вымыслов: по замку гуляли слухи, будто стражи на башне видели в полночь призрак, облаченный в доспехи. Сегодня утром четкими и звучными словами король успокоит общую тревогу сообщением о посольстве: Корнелий и Вольтиманд отправятся с грамотами, в которых каждая статья исполнена взвешенной решимости, к Норвежцу, младшему брату Коллера, немощному обломку героического времени, прикованному к одру, бессильному, но все еще обладающему королевской властью накладывать запреты. Подробное послание Клавдия известит его о том, как его племянник по собственному почину замыслил безрассудный набег, тратя на его подготовку средства из казны и доходов, принадлежащих не ему, но Норвежцу. Клавдий по собственному опыту знал о стремлении нынешнего века избегать восстаний как знати, так и народа — следствия кровавых авантюр ради недолговечных выгод; крестовые походы и их конечная неудача лишили битвы героического ореола. Дряхлый Норвежец, изнеженный подагрический младший брат старого Фортинбраса, укоротит своего чересчур горячего родича, и Дания будет благоденствовать и богатеть благодаря миру, который обеспечит ей ее умный и осмотрительный монарх.

В предвкушении этих дипломатических триумфов — и ощущения, как самые ребра в его груди завибрируют, чтобы его голос донесся до самых дальних уголков зала, — он сжал упругую руку королевы в укрытии их пышных, волочащихся по полу одеяний, пока они шествовали, расточая улыбки и милостивые кивки между многоцветными рядами пополнившегося знатного населения Эльсинора. Там стоял и Гамлет с видом невыспавшимся и кислым, пополнив свою рыжую бороду еще и бархатной треуголкой, которую он снял широким ироничным жестом, когда Гертруда и Клавдий проходили мимо. Король задумался о бессоннице, заставившей так побелеть его лицо — до самой алой зари с Офелией, грязня свою плоть? Ее в зале не было. Отсыпается новоявленная шлюшка. Молодой Лаэрт, выглядевший по контрасту свежим и подтянутым, щеголяя короткой, заостренной парижской стрижки бородкой и отлично скроенным дублетом, который кончался точно над гульфиком, стоял, выпрямившись, рядом с усохшим отцом. Короля заранее предупредили, что у этих двоих есть к нему какая-то маловажная просьба. Хотя Полоний снял свою коническую шляпу и склонился в низком поклоне, показав лысую макушку и лохмы колдуна над ушами, Клавдий заметил, что поблескивающие глаза старика рыщут по сторонам. Неужели он подмигнул королю? Или это просто игра пыли в солнечных лучах? Впечатление в любом случае было неприятным, и Клавдий, осторожно кивнув в ответ, сделал мысленную зарубку, что пора спровадить его камерария на покой.

Истинное чудо, как королевское одеяние вместе с отороченной горностаем тяжестью несет духовное возвышение, придающее самому малому поступку важнейшее значение: кончик пальца опускается по дуге следствий с мощью меча. Это его преображение, когда вся страна сосредоточена вокруг его стучащего сердца, и все преклонение, все надежды народа устремляются к нему из самых дальних его владений — Ти и Фина, Мона и Скане, — означало, что он наконец-то стал

человеком в полном смысле слова, полностью себя осуществившим и каждая его мысль, каждый поступок обретают величие вечной значимости. Он ощутил вечную боль здесь, в средоточии всех глаз, включая огромные, невидимые, взирающие с Небес в высокие окна под потолком. Его грех смердел к небу, неся на себе старейшее из всех проклятий. К чему же милосердие, как не к тому, чтобы стать лицом к вине? Еще достанет времени, чтобы покаянием и молитвой обрести прощение. Он столько достиг, что и прощение представлялось достижимым; отпущение грехов Церковь сделала доступным, как хлеб на столе и лишь чуть более дорогим.

Когда он и королева, словно в гармоничной фигуре танца, поднялись по трем ступеням на возвышение с тронами, мысль о хлебе напомнила об их круглой комнате в одолженном охотничьем домике, их скромные трапезы, часто забываемые в пиршестве их сладострастия, и тот день дождя — дождя, преобразившего молодую листву за узким окном-амбразурой в зеленую дымку, барабанящего по черепице, — тот день, когда она, решив порвать с ним, вместо того сбросила новое шелковое платье и явилась перед ним такой, какой во всей своей наготе выйдет из могилы в День Воскресения, и в день этот прощение будет раздаваться столь же щедро, как хлеба и рыбы.

Упоенно он ощутил рядом с собой ее безмолвное тело, изведенное, живое. Он взглянул в ее сторону, и, уловив его взгляд, Гертруда в неуверенности, можно ли улыбаться в такой важный момент церемонии, все-таки ответила ему быстрой улыбкой. Всякий раз, когда он видел ее заново — спокойные серо-зеленые глаза, милую щелочку между передними зубами, цвет кожи розовый, как у ребенка, разгоряченного надеждой и игрой, медь волос, не покорившихся даже тяжести золотой короны, — он понимал, в чем заключено подлинное. Ну а прочее — всего лишь пустое театральное зрелище.

Августейшая чета заняла свои троны, позолота которых не мешала гнили точить липовые и ясеневые доски, а также, говорили, и куски Истинного Креста и мирового дерева Иггдрасиля. Клавдий произнес заученную речь так, что ее слышали все. И приняли ее хорошо, решил он. Скорбь и похвалы были сбалансированы с тихим изяществом, общая подоплека его действий изложена сухо и ясно, а ситуация с Фортинбрасом и меры, принимаемые королем, описаны подробно и звучно. Лаэрт, исполнив свой долг при коронации, испросил разрешения вернуться в Париж, каковое, естественно, было ему даровано вкупе с комплиментами по адресу Полония, в которых только надутый собственной важностью старый придворный мог не распознать отчуждающей чрезмерности.

Затем, когда Гамлет какой-то невнятной игрой слов ответил на отеческий вопрос короля о его здравии, Гертруда удивила Клавдия мольбой к сыну более не искать своего отца во прахе.

— Все живущее умрет, — мягко напомнила она ему, — и сквозь природу в вечность перейдет.

Не самой меньшей из причин любви короля к ней была эта женская практичность, трезво оценивающая все треволения и бредовые видения мужчин.

А когда мальчик (мальчик! В тридцать-то лет!) перед всем слушающим двором многословно и недвусмысленно дал понять, что только он один истинно скорбит о короле Гамлете, Клавдий уже сам продолжил ее наставления в очевидном: люди смертны, каждый отец в свое время терял отца, но недостойно мужчины и нечестиво

упорствовать в бесплодном горе.

— Помысли о нас, как об отце, — приказал он и напомнил ему: — Ты всех ближе к нашему престолу.

Он подробно раскрыл тему своей любви, и пока он говорил, пока один ямбический оборот гладко сменялся другим, его внимание внезапно отвлек птичий гам — скворцов, решил Клавдий, не таких хриплых, как грачи, — в голубизне окон вверху. Птицы, чуя весну в разгар зимы, оживились и слетелись на нагретую кровлю из крошащейся черепицы.

Некоторые придворные подняли глаза к окнам: быть может, разыгрывавшаяся перед ними драма слишком уж затянулась. День разворачивался вверху, отбрасывая ромбы солнца на многоцветность одежд в зале и на широкие дубовые половицы, истертые и выщербленные. В старину скучающие рыцари грохотали копытами своих коней по каменным ступеням и затевали поединки под балками, под взятыми в плен знаменами, выцветшими и обтрепавшимися. Клавдий кончил разговор с Гамлетом, без обиняков объявив то, о чем другие много лет мялись сказать прямо — что не хочет возвращения Гамлета в Виттенберг.

— Оно с желаньем нашим в расхожденье. — Он посмаковал властное звучание этих слов, но смягчил их, с чувством попросив своего упрямого племянника остаться: — Здесь в ласке и утехе наших взоров, наш первый друг, наш родич и наш сын.

Гертруда сыграла свою роль, добавив:

— Пусть мать тебя не тщетно просит, Гамлет; останься здесь, не ездь в Виттенберг.

Оказавшись в капкане этих двух изъявлений любви, принц из-под нахмуренных бровей взгляделся в два сияющих пожилых лица — висящие перед ним, точно фонари, ненавистные светильники, ожиревшие от убогатствования, здоровья и неугасающих плотских желаний. Он сухо согласился, лишь бы отгородиться от слепящей багровости их общих настояний:

— Я вам во всем послушен.

— Вот, — воскликнул Клавдий, выбитый из колеи этой внезапной уступкой, — любящий и милый нам ответ.

Они его заполучили. Теперь он их. Воображение короля, забегаая вперед, уже рисовало беседы мудрых наставлений и остроумной пикировки, которыми он будет наслаждаться в обществе своего эрзацсына, единственного, кто равен ему умом в замке, не говоря уж о том, какие прочные позиции завоюет ему такая семейная идиллия в сердце матери мальчика, вновь обретшей любовь к нему.

Занимается эра Клавдия, она воссияет в анналах Дании. Он, если умерит свои плотские эксцессы, просидит на престоле еще лет десять. Гамлет, когда корона перейдет к нему, как раз достигнет сорока лет, идеального возраста. Они с Офелией уже обзаведутся наследниками, будто цепочкой утят. Гертруда будет мягко исчезать из памяти народной как его благочестивая седовласая вдова. В упоении этих предчувствий король, встав, чтобы удалиться, громовым голосом возвестил, что в согласье принца вольном и радушном — улыбка его сердцу, в знак чего на всякий ковш, что он осушит нынче, большая пушка грянет в облака. И его королева встала вместе с ним, сияющая в своей розовой прелести, с лицом, озаренным гордостью за него. Он взял ее послушную руку в свою, другой сжимая твердый скипетр. Он сумел добиться своего. Все будет хорошо.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Далее, естественно, следует действие трагедии Шекспира. Живо воскрешенными впечатлениями от нее автор обязан четырехчасовому фильму «Гамлет» Кеннета Брана, вышедшего на экраны в 1996 году, а также образам таких персонажей за сценой, как Йорик и король Гамлет. Намек на воинскую службу Клавдия за границей можно найти в действии IV, сцене VII, строки 83-84. О его умении соблазнять упоминает Призрак (действие I, строки 43-45). «О Гамлете» Салвадора де Мадариаге (1948 г., переиздание 1964 г.) перечисляет некоторые из многочисленных небрежных противоречий в пьесе (явная невидимость Горацио до того, как Гамлет радуется его возвращению в первом действии (сц. II, стр. 160), хотя он в Эльсиноре уже два месяца; а также причуды климата, который через четыре месяца после «сна в яблоневом саду» оборачивается «жесточкой стужей» на парапете замка, а затем позволяет Офелии собирать майские и июньские цветы, а также подчеркивает непробиваемый эгоцентризм Гамлета, проводя параллель между пренебрежением принца по отношению к собеседникам и пренебрежением драматурга по отношению к зрителям. «Совершенство Гамлета» Уильяма Керригана (1994 г.), абсолютно позитивное и восторженное рассмотрение трагедии, содержит нижеследующий пронзительный вывод из истолкования книги Г. Уилсона Найта «Колесо огня — истолкования шекспировской трагедии» (1930 г.; переиздание 1949 г.): «Если не считать сокрытия убийства, Клавдий кажется хорошим королем, Гертруда — благородная королева, Офелия — клад нежной прелести, Полоний — занудный, но вовсе не плохой советник, Лаэрт — типичный юноша. Гамлет их всех обрекает на смерть».

Примечания

1

король в зародыше... животворное начало (лат.).

2

Рыцарская поэма (фр.).

3

печальный (фр.).

4

печаль (фр.).

5

Бог — соответственно по-немецки, по-французски, по-провансальски, по-испански.

6

Уйди! (итал.)

7

возлюбленная в далекой земле. (прованс.)

8

Королева... не курица (итал.).

9

Любовь, смерть (лат.).

10

Время позднее... Идем быстрее (итал.).

11

День у вас прошел хорошо? (итал.).

12

Да, да, день был превосходный. А у тебя? (итал.).

13

Очень хорошо, синьор. Пусть волк сдохнет (итал.).

14

Пусть волк сдохнет! (итал.)

15

Далекая принцесса (фр.) или «принцесса Греза» в переводе Т.Л. Щепкиной-Куперник. Согласно легенде – графиня Триполи, которой заочно отдал свое сердце провансальский трубадур Джауфре Рюдель.

16

амбразура (фр.).

17

песни (фр.). Здесь: произведения трубадуров.